

П Р О Б Л Е М Ы

В О С Т О Ч Н О Й

Е В Р О П Ы

1



**ПРОБЛЕМЫ**

**ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ**

**1**

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK

1981

Журнал редактируют:

**Франтишек СИЛНИЦКИЙ**  
**Лариса СИЛНИЦКАЯ**

Сотрудник редакции:

**Борис ШРАГИН**

*“Восточноевропейские проблемы” – независимый журнал, который мы предполагаем издавать ежеквартально.*

*Задача журнала – способствовать ознакомлению читателей с политико-экономическим мышлением и политическим опытом наций Восточной Европы и СССР. Народы и государства этого региона отличаются друг от друга, что обусловлено их историческим развитием. В то же время во всех этих странах существуют аналогичные политические и экономические структуры, вследствие чего аналогичны и возникающие в этих странах проблемы. Существуют в этой области противоречия и конфликты. Многие из них культивируются на почве недостаточной информированности наций друг о друге и недостаточной связи между представителями этих наций и государств. Наша цель – по мере возможностей этот недостаток восполнить.*

*Мы выражаем благодарность редакторам выходящих на Западе журналов на языках наций Восточной Европы, а также авторам и издательствам, за разрешение использовать их материалы.*

## **PROBLEMS OF EASTERN EUROPE**

Number One

Edited by Frantisek Silnitsky and Larisa Silnitsky

Copyright © 1981 by Chalidze Publications  
505 Eighth Avenue  
New York, N.Y. 10018

Manufactured in U.S.A.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Статьи

<i>Йиржи Пеликан.</i> Возможности и пути перемен в странах "реального социализма" .....	5
<i>Петер Кенде.</i> Будапешт – Варшава – Прага .....	21
<i>Адам Михник.</i> Польский диалог: церковь – левые .....	29
<i>Джордж Урбан – Адам Улам.</i> Опасен ли для Советского Союза статус-кво в Восточной Европе? .....	77
<i>Борис Шрагин.</i> Сила диссидентов .....	95

### Национальная проблема

<i>Аноним (белорусский автор).</i> Письмо русскому другу .....	106
<i>Франтишек Силницкий.</i> Несколько слов о конституции БССР .....	121

### Воспоминания, документы

<i>Зденек Млинарж.</i> Перед московским трибуналом .....	126
<i>Никита Хрущев.</i> Как мы поссорились с Албанией .....	173

### Памятные даты

<i>25-я годовщина Венгерской революции.</i> Из декларации правительства Союза ССР об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами .....	177
---	-----

<b>Об авторах</b> .....	181
-------------------------	-----

## CONTENTS

### Articles

<i>Jiri Pelikan</i> . Possibilities and Paths of the Evolution of “Real Socialism” .....	5
<i>Peter Kende</i> . Budapest – Warsaw – Prague .....	21
<i>Adam Michnik</i> . The Church, the Left, the Dialogue .....	29
<i>George Urban – Adam Ulam</i> . Why the Status Quo in Eastern Europe Is a Threat to Soviet Policy.....	77
<i>Boris Shragin</i> . Power of Dissidents .....	95

### Nationality Problem

<i>Anonymous Author (from Bielorussia)</i> . Letter to a Russian Friend .....	106
<i>Frantisek Silnitsky</i> . Constitution of the Bielorussian SSR .....	121

### Memoirs

<i>Zdenek Mlynar</i> . Facing Moscow Tribunal .....	126
<i>Nikita Khrushchev</i> . How We Split with Albania .....	173

### Anniversaries

<i>25 Years since Hungarian Revolution</i> . Declaration of the USSR Government about Relations between the Soviet Union and Other Socialist Countries .....	177
--	-----

About the Authors .....	181
-------------------------	-----

## СТАТЬИ

*Йиржи Пеликан*

### ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ ПЕРЕМЕН В СТРАНАХ "РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА" \*

(Размышления над книгой Рудольфа Баро "Альтернатива") \*\*

Книга Рудольфа Баро "Альтернатива", без сомнения, заслуживает обсуждения, так как дискуссия о характере политической системы в странах Восточной Европы и о возможных перспективах развития так называемого реального социализма необыкновенно важна. Надеюсь, что в полемике между марксистской оппозицией в странах Восточной Европы и левыми на Западе книга Баро будет использована как рабочий материал. Более того, я надеюсь, что книга Баро станет отправной точкой других работ на эту же тему. Тогда начнется новый этап борьбы за социалистическую альтернативу и перемены в странах Восточной Европы; будет не только проводиться беспристрастный анализ так называемой советской модели социализма (подчеркиваю, анализ, а не эмоциональная публицистика), но и разрабатываться политическая стратегия и тактика борьбы за изменение положения, существующего в этих странах.

Основное достоинство работы Баро заключается, по моему мнению, в том, что автор великолепно изучил общество, о котором пишет. Баро удается выйти за пределы своего личного опыта. Его книга — не свидетельство очевидца (таких свидетельских показаний накопилось уже много), а научный анализ, обобщающий непосредственный опыт автора. Книга Баро показывает, что в отличие от большинства идеологов стран "реального соци-

---

\* Статья была написана для сборника „Antworten auf Bahros Herausforderung“ des "realen Sozialismus", изд-во Olle u. Wolter, W. Berlin, 1979.

\*\* Rudolf Bahro: Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Bund-Verlag Köln, 1977.

ализма”, он действительно изучил Маркса, Энгельса и Ленина и пользуется методом исторического материализма как инструментом при анализе новых явлений. Тем самым Баро пытается восстановить репутацию искаленного и дискредитированного марксизма, хотя, по всей вероятности, именно марксизм в его работе оттолкнет тех, кто, стремясь в странах Восточной Европы к переменам, целиком отвергает при этом официальные клише и терминологию. Ведь именно эти клише и эта терминология препятствуют познанию действительности, именно ими злоупотребляет официальная пропаганда, искажая эту действительность.

В своей статье я хотел бы остановиться только на двух проблемах, затронутых наряду с другими в книге Баро. Я имею в виду, во-первых, анализ изменений, которые произошли в странах Восточной Европы в результате советской интервенции в августе 1968 года, и, во-вторых, вопрос о формах и содержании борьбы за ”альтернативу”, за иной путь развития этих стран. Во многом я с Баро согласен, по некоторым же вопросам я придерживаюсь совершенно иных взглядов.

### **Что же изменилось после интервенции 1968 года?**

Я согласен с главными тезисами Баро в его анализе политического режима стран Восточной Европы. Наши взгляды, однако, начинают расходиться в оценке последствий советского военного вмешательства в чехословацкие события в августе 1968 года. Мне думается, что Баро недооценивает отрицательные последствия этого вмешательства не только для самой Чехословакии (”нравственный авторитет политики реформ остался непоколебимым” -- стр. 407), но и для остальных стран Восточной Европы (”несмотря на то, что травма 1968 года все еще ощущается психологически, в остальных странах советской сферы влияния существует более широкий внутривнутриполитический простор для маневрирования” -- стр. 395). Военная интервенция 1968 года сопровождалась чистками государственных и партийных аппаратов во всех странах Восточной Европы. Тысячи активных коммунистов, которых подозревали в симпатиях к ”Пражской весне” или просто считали ”потенциальными ревизионистами”, были исключены из партии и отстранены от общественной деятельности. Кроме того, по ходу чисток во всех областях политики и идеологии активизировались прагматики и



сталинисты, расширилась компетенция органов безопасности. В Чехословакии после интервенции положение изменилось радикально: вследствие исключения 500.000 человек, КПЧ полностью потеряла связь с массами, превратилась в послушное орудие советской политики. Из партии выгнали людей, которые готовы были вести диалог и осуществить реформы; людей, которые были движущей силой процесса демократизации шестидесятых годов. Но престиж социализма пошатнулся не только потому, что "коммунисты-реформисты" оказались изолированными от политической жизни и стали объектом жестоких репрессий, но и потому, что дубчеховское руководство — разумеется, под давлением извне — капитулировало, подписав т.н. Московский протокол, открыв тем самым путь к "нормализации", затронувшей большую часть населения. Все это вместе отразилось и на последующей оценке "политики реформ" 1968 года. Рудольф Баро совершенно справедливо критикует тогдашнюю позицию руководства КПЧ:

"Политическая группировка Дубчека повела себя слишком нерешительно, а это было, главным образом, вызвано ее иллюзиями относительно Советского Союза, относительно характера советского общества и интересов его руководства".

Дубчеку Баро противопоставляет Тито. Однако дубчеховское руководство неоднократно подчеркивало в течение 1968 года, что "Чехословакия не будет второй Югославией", выдавая тем самым судьбу "Пражской весны" на милость советского руководства, хотя это полностью противоречило политическим стремлениям и национальным чаяниям большинства чехов и словаков — и коммунистов в том числе. И как же после всего этого, после капитуляции и последовавшей за ней "нормализации" могла остаться незапятнанной репутация политики реформ 1968 года?

В других странах Восточной Европы отрицательные последствия военного вмешательства были менее трагичны (если иметь в виду только репрессии), но они были столь же серьезны с точки зрения их влияния на сознание масс. Военная интервенция в Чехословакии вновь подтвердила, что любая попытка демократизации, предпринятая в одной стране восточного блока, неиз-

бежно вызовет контрреакцию со стороны советского руководства и будет подавлена с такой же решительностью, как и "Пражская весна" 1968 года. Осознав это, граждане стали более пассивны, а коммунисты превратились в прагматиков и циников.

Баро ярко описал это в главе о партийном аппарате, его кадрах и сотрудниках. Только в Польше взрыв недовольства 1970 года привел к изменениям в партийном руководстве. И только в Польше общественность добила определенных уступок, которыми воспользовались впоследствии различные оппозиционные течения. В настоящее время Польша — единственная страна Восточной Европы, где почти на законном основании существует параллельная культурная и политическая жизнь, где даже среди коммунистов наблюдается расслоение, подобное расслоению КПЧ в период до 1968 года. Как долго продлится такое положение в Польше зависит от того, как долго смогут поляки сопротивляться объединенным стараниям московских и местных бюрократов "восстановить порядок и дисциплину", "покончить с анархией".

Положение, которое сложилось в странах Восточной Европы, приводит некоторых бывших коммунистов к выводу, что поражением "Пражской весны" окончилась эра реформистского коммунизма (или ревизионизма) во всей Восточной Европе (Лешек Колаковский). Такие взгляды разделяют и представители некоторых оппозиционных течений в Чехословакии и Польше, не говоря уже о самом Советском Союзе, где большинство "диссидентов" — за исключением Роя Медведева и нескольких других — отождествляют социализм со сталинизмом (ничего другого они не видели), а потому отвергают социализм вообще, как бы его ни реформировать и ни видоизменять. Я лично с этими взглядами не согласен, хотя могу их понять как эмоциональную и моральную реакцию на существующее в СССР положение. Более того, объективный анализ обстановки в Восточной Европе, как и соотношения сил в мире, заставляет меня согласиться с Рудольфом Баро в том, что будущее этих стран — в "социалистической альтернативе", которая будет осуществлена путем постепенных, но последовательных реформ существующей системы — вплоть до эмансипации общества в духе социалистических идеалов.

В чем же все-таки состоят действительные результаты военной интервенции в Чехословакии? Если до 1968 года еще бы-

ло возможно, что давление снизу найдет отклик учленов правящей партии, так как в рамках этой партии существовало течение, готовое к диалогу, понимающее необходимость экономических и политических реформ, и если в случае объединения этих сил создавались условия для постепенного осуществления реформ без насилия и конфликтов, то после 1968 года наиболее активные реформистские силы действуют вне партии и официальных институтов. Возникают движения протеста, оппозиция, выступают диссиденты, открыто проявляется недовольство -- и все это начинает оказывать давление на власть имущих. Эти тенденции могут либо заставить власть пойти на уступки, либо вылиться во взрыв стихийного недовольства. Но серьезное влияние оппозиция сможет оказать лишь при условии, если она будет достаточно сильной и если она будет представлена основными носителями общественных перемен -- рабочими, молодежью и политически активной интеллигенцией. Если давление такой оппозиции будет настойчивым и последовательным, то оно сможет стимулировать процесс расслоения внутри правящей партии и возродить (еще раз!) благоприятствующие реформам настроения.

Но это будут уже не реформы "сверху", как в Чехословакии в 1968 году (и отчасти как в Польше и Венгрии в 1956 г., а в СССР при Хрущеве). Тогда инициатором реформ и перемен были "верхи", правящая партия, вернее, определенная часть ее членов.

В настоящее же время, как совершенно верно замечает Баро, "правящие партии стали противниками любых перемен, так как любые перемены отразились бы в первую очередь на их собственном положении, ... причем эти партии оправдывают свою позицию постоянной угрозой советской интервенции" (стр. 378). Именно поэтому решающим фактором дальнейшего развития событий становится в настоящее время "движение снизу". В этом мы с Баро совершенно заодно. Но я не согласен с его оценкой той роли, которую в этом "движении снизу" могут играть "коммунисты" и "марксисты", как и с его определением содержания и цели "культурной революции", которая приводит к "подлинному коммунизму", как считает Баро, или к плюралистическому демократическому социализму, как считаю я. Только в таком социализме я вижу возможную альтернативу существующему в странах Восточной Европы режиму.

## О роли коммунистов и о проблеме политического плюрализма

Рудольф Баро мыслит освобождение человечества как построение "подлинного коммунизма", а потому, -- совершенно логично, -- прежде всего коммунистов он считает носителями реформ (правда, не аппаратчиков и не связанных с аппаратом людей). Орудие борьбы против "диктатуры политбюрократии" Баро видит в новой партии, которая будет называться Лигой коммунистов (Bund der Kommunisten).

Мне думается, что начертанная им перспектива весьма далека от действительности и от чаяний значительной части тех, кто в странах Восточной Европы стремится к демократизации системы.

Прежде всего следует признать, что сам термин "коммунизм" для народов Восточной Европы дискредитирован. Он связан у них с представлением о власти одной партии, с диктатурой аппарата, опирающегося на гегемонию Советского Союза в данной географической области. Неприятие коммунизма нельзя отождествлять, однако, с неприятием социализма как общественной системы, основанной на коллективной собственности на средства производства. Многие из граждан Восточной Европы, которые считают себя антикоммунистами и даже отрицают социализм как идеологию, вряд ли думают, что после ликвидации диктатуры коммунистического аппарата крупные заводы и предприятия могут быть снова переданы в частную собственность, что крупные сельскохозяйственные кооперативы могут быть снова разбиты на мелкие индивидуальные хозяйства.

Некоторые проведенные в этих странах мероприятия вошли в повседневную жизнь людей. И люди понимают, что несмотря на все недостатки этих мероприятий, аннулировать их невозможно. Люди хотят, чтобы во главе национализированных предприятий стояли квалифицированные специалисты, чтобы эти предприятия производили продукцию, нужную людям, а не продиктованную бюрократическими аппаратами зачастую для удовлетворения потребностей Москвы; чтобы рабочие и техники получали зарплату, соответствующую их квалификации и производительности, и чтобы на эту зарплату они могли купить то, что им нужно.

Люди хотят, чтобы общественность контролировала экономику, чтобы о состоянии экономики публиковались статистические данные, чтобы они могли принимать участие в управлении экономикой и пользоваться плодами своего труда. Люди, разумеется, заинтересованы и в независимых профсоюзах, способных защищать их интересы перед лицом государственного и кооперативного работодателя; а для этого в стране должна быть создана соответствующая политическая обстановка.

Основное препятствие достижению этих целей население стран Восточной Европы видит прежде всего в правящих коммунистических партиях, в их монополии на власть, которую они оправдывают марксистской фразеологией, преподнося как "диктатуру пролетариата", неизбежную якобы в период перехода общества к коммунизму. В прошлом некоторые правящие компартии пользовались поддержкой масс, но это имело место тогда, когда компартии только обещали построить социализм -- справедливое общество, которое предоставит людям больше свобод и большую степень их участия в управлении по сравнению с парламентской демократией (так, например, массы поддерживали в свое время компартию Чехословакии). Своих обещаний компартии, однако, не выполнили; они отошли от масс и стали править административными методами, средствами принуждения. Самые жестокие методы применялись в сталинские времена -- времена репрессий и политических процессов. После XX съезда КПСС появилась в странах Восточной Европы надежда, что первоначальные идеалы будут восстановлены, что страшные трагедии прошлого -- это всего лишь их "деформация". Но были задушены и эти надежды. Венгрия была залита кровью во время революции 1956 г.; была проведена "нормализация" Польши после Октября. (Эту "нормализацию" осуществил сам Гомулка.) Были также предприняты такие нелепые действия, как постройка берлинской стены. Еще раз оживила утраченные иллюзии "Пражская весна". И не только в Чехословакии. Но ликвидация чехословацких реформ после советской оккупации снова подтвердила реакционность стоящих у власти коммунистических партий, их идеологии. Теперь люди именно коммунистов признают виновными за тяжелое положение своих стран... В сознании народов Восточной Европы коммунизм отождествляется со сталинизмом и гегемонией СССР, а потому даже в самом реформированном его виде он для них неприемлем.

Кроме того, коммунизм, как он преподносится в школах (и как понимает его Рудольф Баро), представляется гражданам, живущим в условиях так называемого реального социализма, утопией. И утопией опасной, так как идеалами коммунизма власть имущие стараются затушевать или даже оправдать свои самые жестокие действия.

Могут возразить, что речь, собственно говоря, идет только о терминологии и что для "реабилитации" коммунизма достаточно будет освободить его от ничего общего с марксизмом не имеющего волюнтаризма и изменить повседневную практику стоящих у власти компартий. Мне же это представляется невозможным, так как противоречие между тем, чего хотят массы в странах "реального социализма", и тем, что выдвигает в качестве программы Рудольф Баро, не только в терминах, но и в содержании. Свое отношение к политическому плюрализму Баро, например, выражает так:

"Концепция многопартийной системы кажется мне бессмысленным анахронизмом. Она совершенно несовместима с историей наших стран" (стр. 416). Политические партии по-прежнему представляются Баро как выразители интересов различных классов. Но именно это постоянно подчеркивает и официальная идеология правящих коммунистических партий, оправдывая тем самым свою монополию на власть. Но еще до 1968 года многие социологи и философы, — как в Чехословакии, так и в других странах, — пришли к выводу, что и в социалистическом обществе существуют различные классовые и групповые интересы, а потому проявление этих интересов через различные политические структуры совершенно обоснованно. Такими структурами могут быть не только профсоюзы, рабочие советы, всевозможные массовые организации, но и политические партии с отличными от коммунистов представлениями о социализме. Политический плюрализм и в социалистическом обществе предполагает наличие не только нескольких политических партий, но и оппозиции. И именно так представляли себе дальнейшее развитие социалистического общества и демократии многие коммунисты в Чехословакии, считая при этом, что такое развитие осуществится постепенно, по этапам, обусловленным внутренним и международным положением страны.

Рудольф Баро все еще говорит о какой-то загадочной миссии коммунистов, о том, что только коммунисты призваны освободо-

дять человечество, что в странах Восточной Европы только коммунисты могут свергнуть тоталитарную диктатуру аппарата и создать демократическое социалистическое государство. Справедливости ради следует отметить, что у Баро есть для этих утверждений некоторые реальные основания: так как в странах Восточной Европы коммунистическая партия -- единственный политический институт, в рамках и посредством которого можно воздействовать на общество и заниматься политикой вообще, то, казалось бы, только коммунисты смогут начать этот процесс демократизации. И все же, вследствие всего содеянного компартиями, всего, что граждане стран Восточной Европы великопечно помнят и чувствуют до сих пор, коммунисты (в том числе коммунисты-реформисты, как и другие разновидности коммунистов) лишили себя морального права на какую бы то ни было главенствующую роль. Они должны снова завоевать это право -- в сотрудничестве с представителями других течений и без претензий на "руководящую роль" (к этому, по крайней мере, стремятся исключенные из партии чехословацкие коммунисты в рамках движения за гражданские права -- "Хартия 77").

Сам Баро признает, что его представление о руководящей роли коммунистов не может рассчитывать на широкую поддержку. "К сожалению (!), -- пишет он, -- вполне вероятно, что осуществление программы-минимум демократической революции против политической бюрократии превратится в самостоятельный исторический этап" (стр. 336). "К сожалению", признавая существование "демократических требований", Баро все же считает, что, выдвигая такие требования, "движение добровольно ограничивает себя интересами одной лишь интеллигенции" (стр. 367). Это суждение Баро связано с весьма странным, но типичным для коммунистов предрассудком. Они привыкли думать, что свобода слова, собраний, доступа к информации, свобода исследования и художественного творчества, а, в первую очередь, свобода слова -- это атрибуты лишенной классового содержания "буржуазной системы", и что удовлетворяют они "специфические потребности интеллигенции, которая стремится расширить свои привилегии". Я совершенно не согласен с тем, как Баро оценивает роль чехословацкой интеллигенции до и в период "Пражской весны". Баро несколько раз повторяет, будто чехословацкая интеллигенция старалась прежде всего

осуществить свою „glorious revolution”, которая не имела ничего общего с демократизацией, за которую выступали массы. Это утверждение выдает полное непонимание роли чехословацкой интеллигенции. Оно особенно поразительно потому, что сам Баро великолепно показывает, как аппарат власти старается злоупотребить отсталостью части населения, вызывая в нем зависть и враждебность к интеллигенции за ее умение дать оценку существующему в стране положению и нанести удар по самому больному месту системы. В период с 1963 по 1967 год чехословацкая интеллигенция вовсе не добивалась новых привилегий! Она использовала свой моральный престиж и уже имевшиеся в ее распоряжении возможности — выступать перед общественностью, путешествовать и познавать, выражать в искусстве или в публицистике свои идеи, чтобы артикулировать взгляды, чаяния и потребности большинства граждан, которые были лишены возможности защищать свои интересы в политических и профсоюзных организациях. Чехословацкая интеллигенция заслужила уважение народа еще в прошлом, когда у чешской и словацкой наций не было своего государства. Именно поэтому она могла сыграть роль катализатора процесса демократизации в период „Пражской весны”. То же можно сказать об интеллигенции и в других странах Восточной Европы.

Исключительно важными представляются мне признания Баро, что конфликты между новыми общественными силами и властью имущими „невозможно понять, пользуясь традиционными категориями классовых противоречий”, что „субъектом освободительного движения являются энергичные и творческие люди, которые выходят из всех слоев общества” (стр. 287). В контексте работы Баро это звучит как антимарксистская ересь, но именно здесь проявляется его личный опыт — опыт жизни в стране, где правит безликая бюрократия, которая опирается на послушных лакеев, на людей без мнения, без инициативы. Когда Баро говорит о творческих силах, он наверняка подразумевает и интеллигенцию (ученых, техников, врачей, работников искусства и т.п.), как, разумеется, и молодежь, и рабочих, которых Баро оценивает с необычным беспристрастием, без иллюзий, столь характерных для многих западных марксистов, которые привыкли писать обо всем с точки зрения „интересов рабочего класса”... Поэтому Баро и допускает, что в странах Во-



сточной Европы именно интеллигенция может оказаться инициатором реформ.

”Стоит политической бюрократии несколько ослабить свой пристальный надзор, стоит ей на минутку вздремнуть, как немедленно возрастает влияние интеллигенции... И факт остается фактом, что в странах Восточной Европы оппозиция со стороны интеллигенции, как только находит силы оформиться, парализует нервную систему аппарата власти” (стр. 391-392). Знаменательно, что роль интеллигенции и необходимость союза с ней поняли не только трудящиеся стран Восточной Европы. Правящие круги этих стран тоже изучили урок Чехословакии, Венгрии и Польши, и именно поэтому делают все возможное, чтобы воспрепятствовать интеллигенции сыграть роль катализатора процесса демократизации. Власть использует для этого цензуру, идеологический контроль, специальные методы подбора кадров, репрессии и подкуп.

Зная страны Восточной Европы, я утверждаю, что *основные требования* большинства трудящихся имеют там демократический, а не коммунистический характер. Баро же, как и другие марксисты, которые выступают против партийной бюрократии, считает, что между сиюминутной и конечной целью не должно быть никаких противоречий. Необходимое условие победы как демократии, так и коммунизма они видят в *ограничении власти аппарата и ликвидации монополии на власть одной партии*. Баро прав, что процесс освобождения увенчается успехом лишь тогда, когда будет ”лишена власти бюрократия, когда будет ликвидирована власть аппарата над обществом, когда по-новому будут упорядочены отношения между обществом и государством” (стр. 372). Но Баро не понимает, что именно в *демократизации общественной жизни, в соблюдении гражданских прав* граждане Восточной Европы уже на нынешнем этапе видят *самое важное и самое насущное требование*.

Не Картер был инициатором борьбы за гражданские права. ”Хартия-77” сформировалась еще до того, как Картер признал принцип прав человека составной частью политики своего правительства. Движение за гражданские права возникло среди людей, накопивших горький опыт подневольного существования; оно возникло вследствие поражений освободительных движений в Польше, Венгрии и Чехословакии. Для наступательного

движения за гражданские права Bund der Kommunisten (Лига коммунистов) или по-другому реорганизованная компартия -- не лучшее орудие. Намного эффективнее по форме и по содержанию нечто совершенно иное -- а именно: движение за демократический социализм. Кроме того, в условиях тоталитарной диктатуры создавать новую партию или организованную "оперативную базу" в виде Bund der Kommunisten даже и нереально, так как власти немедленно объявят ее вне закона, а членов и сотрудников этой Лиги арестуют как "врагов социализма" и "заговорщиков". К тому же, основание новой (или второй) компартии вызвало бы у многих людей впечатление, что идет *"борьба между коммунистами"*, что на одной стороне стоят власти имущие, а против них выступают те, у которых этой власти пока нет, но кто хочет ее заполучить. Борьба "внутри правящей элиты" уже давно перестала кого-либо интересовать.

"Движение" за гражданские права (или за демократический социализм) иное качественно. Это новое качество обеспечивает ему отчетливое отличие от институтов власти, а форма организации движения за права человека позволяет ему действовать и в условиях тоталитарной диктатуры. Демократическому движению не нужны руководители, у него есть только представители; ему не нужна организационная структура, которая, как правило, позволяет полиции проникнуть в организацию и после раскрытия одного звена парализовать весь организм. Но что самое главное -- демократическое движение позволяет на практике осуществить принцип политического плюрализма, и это подтверждается примером социалистической оппозиции стран Восточной Европы. Главным инструментом демократического движения могут быть, с одной стороны -- самиздатские журналы, где публикуются самые разнообразные и самые противоречивые взгляды тех, кто присоединяется к движению, а с другой стороны -- заявления, ограничивающиеся теми проблемами, по которым достигнуто согласие *всех* участников движения. В качестве примера таких движений можно привести "Хартию-77" в Чехословакии и КОР (Комитет защиты трудящихся) в Польше. Их платформа обеспечила сотрудничество бывших коммунистов с социалистами, христианами, троцкистами и либералами, причем это сотрудничество осуществляется на основе уважения законов и гражданских прав, которые нарушаются аппаратом власти.

Иногда опасаются, что в демократическом движении растворяются политические группы с их особыми программами, что, отказываясь, с другой стороны, от общей политической программы, демократическое движение ограничит борьбу лишь повседневными сиюминутными требованиями, что оно не будет ставить перед собой перспективных целей. Такая опасность была бы реальна, если бы демократическое движение предполагало ликвидацию всех идеологических течений. Но объединение людей в демократическом движении вовсе не означает, что составные части оппозиции должны прекратить свое существование или отказаться от своих взглядов. Ведь солидарность, дисциплина и терпимость вовсе не исключают дискуссий и параллельной политической жизни вне рамок движения, в группах. Одним из течений наверняка останется и движение "коммунистов-реформистов". И оно, благодаря своему опыту и реализму своей программы, благодаря своим многочисленным связям с бывшими соратниками, которые остались в рядах правящей партии, смогут сыграть очень важную роль в процессе демократизации и формирования социалистической альтернативы. Но наряду с ними -- и на равных правах -- будут действовать другие течения, и только сотрудничество между ними, уважение их представителей друг к другу смогут создать параллельную политическую жизнь, доказать скептикам, что перемены возможны, и что социализм может быть другим, не похожим на "реальный социализм".

Вполне осуществимой целью демократического движения на ближайшее будущее может быть создание "двоевластия де-факто" (стр. 429). Практически это означает создание параллельных структур наряду с официальными институтами -- издание неподцензурных книг и журналов, организация летучих университетов, независимых профсоюзов или рабочих советов, комитетов в защиту преследуемых и т.п. Но для этого движение должно выступать с такими требованиями, в удовлетворении которых заинтересованы не только его участники, то есть представленное мужественными, идущими на риск людьми меньшинство, но и широкие слои населения. И тогда люди увидят сами, что демократическое движение защищает их интересы лучше, чем официальные институты.

## Об опасности, которой чреват национализм, и о новом понимании интернационализма

Допустим, что демократическое движение той или иной страны (я говорю о странах Восточной Европы) будет сильным настолько, что добьется не отдельных уступок, а серьезных изменений существующего в стране положения, что оно породит новую "Пражскую весну". Даже в таком случае успех останется непрочен, если он ограничится одной страной. Побежденные, загнанные в угол политические силы немедленно попытаются восстановить свое положение, опираясь на советские вооруженные силы. События в Венгрии и в Польше в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году свидетельствуют тому. В будущем процесс демократизации окажется успешен лишь при условии, если он будет осуществляться в нескольких странах восточного блока одновременно, например в Польше, Чехословакии, ГДР и Венгрии. И это, конечно, не может полностью исключить возможность советского военного вмешательства, но, по крайней мере, сделает такой шаг более рискованным. Если перед советским руководством возникнет дилемма: либо военная интервенция в нескольких странах (плюс возможность кровопролития, если население окажет сопротивление — со всеми международными и внутривнутриполитическими последствиями), либо политические уступки и компромиссы, которые позволили бы руководству стран Восточной Европы осуществить демократические (политические и экономические) реформы, учитывая при этом военно-стратегические и экономические интересы Советского Союза в Восточной Европе, то не исключено, что Советский Союз отдаст предпочтение второму решению. Один из ведущих представителей польской оппозиции Яцек Куронь назвал это второе решение "финляндизацией Восточной Европы", которая, в отличие от финляндизации Западной Европы, для народов этой части континента была бы шагом вперед по пути к освобождению и демократизации.

Поэтому можно полностью согласиться с выводами Рудольфа Баро, что националистическая ограниченность концепций оппозиции чревата самыми опасными последствиями. Баро верно подметил, что "при процессе разложения объединенных в свя-

щенный союз национальных партийных аппаратов национализм играет роль их опоры". Баро пишет: "Со временем оппозиция выйдет за границы данного момента, за национальные рамки. Она научится воспринимать как арену своей борьбы всю область Восточной Европы. Только тогда оппозиция будет свободна от национальных предрассудков и стереотипов... Главное — это не национальные различия и предрассудки, а основное противоречие между общими интересами *всех* народов Восточной Европы и интересами их политической бюрократии" (стр. 396-397).

Солидарность с "Хартией-77" диссидентов других стран Восточной Европы, как и солидарность Хартии с советскими диссидентами и польским КОРОм, да и самим Рудольфом Баро — это живые признаки, что оппозиция в странах Восточной Европы начинает понимать общность своих задач и необходимость совместных действий. Укреплять эту солидарность в самых широких слоях населения — первоочередная задача всех оппозиционных демократических течений.

Баро придает большое значение силам социализма и еврокоммунизма в развитых странах Западной Европы. Он видит в них одну из предпосылок демократизации Восточной Европы. Мне думается, однако, что Баро несколько переоценивает значение так называемого еврокоммунизма, который пока что представляет собой лишь потенциальную силу в международном коммунистическом движении. Ведь еврокоммунизм все еще не определил свою идеологическую платформу. И Баро прав, что главное препятствие сотрудничеству еврокоммунистов и других левых течений запада с оппозицией в Восточной Европе заключается в „Nichteinmischungsmentalität", то есть в психологии невмешательства, которая столь характерна для западных левых вообще и компартий в частности. Но тогда непонятно, почему он столь переоценивает возможность "действенной солидарности западноевропейских коммунистов с серьезной, наделенной чувством ответственности оппозицией в странах реального социализма" (стр. 405), как и вероятность, что именно эти партии предоставят социалистической оппозиции Востока страницы своих журналов и свои издательства. Ведь все эти партии поддерживают официальные отношения с аппаратами правящих партий стран реального социализма. Они затрудняются выбрать, принять ли сторону "угнетенных" или "угнетателей". Западные

компартии не порвали отношений с теми, кто судил и приговорил Баро. Нужны ли еще другие доказательства? Баро предлагает конкретные меры, чтобы "интернационализировать" социалистическую оппозицию на Востоке. Но, скорее всего, поддержать эти меры могут левые некоммунисты, которые не связаны "правилами игры", обязательными в международном коммунистическом движении — прежде всего, в отношении СССР.

Если коммунистические партии Западной Европы действительно хотят заслужить доверие оппозиции в странах Восточной Европы и оказать ей действенную помощь, то они должны защищать демократический социализм — то есть со свободой слова и оппозиции, с автономными профсоюзами и самоуправлением, с многопартийной системой и т.п. — не только для своих государств, но и для народов Восточной Европы. Когда представители западных компартий выступят с трибуны партсъездов в Москве и потребуют соблюдения основных принципов демократического социализма в самом Советском Союзе, когда они осудят монополию одной партии на власть, монополию подчиненных партии профсоюзов и цензуры — в самом Советском Союзе и в странах Восточной Европы — только тогда можно будет думать и говорить о восстановлении доверия к коммунистам. И только тогда группы марксистов и коммунистов-реформистов, которые теперь составляют ничтожное меньшинство среди других оппозиционных течений, смогут хотя бы отчасти претендовать на ту почетную роль, которую предназначил им Баро.

Однако, несмотря на все возражения, я считаю книгу Баро чрезвычайно полезным стимулом мысли для всех левых в Европе, но, в первую очередь, для тех, кто хочет возродить социализм в Восточной Европе. Изучение этой книги, обсуждение ее идей могло бы стать отправным пунктом параллельного идеологического развития, на важности которого настаивает сам Баро.

Книга Баро подтверждает участникам "Пражской весны", что, вопреки оккупации, Чехословакия 1968 года стала лабораторией, где вырабатывались и проверялись новые идеи, что эти идеи продолжают жить в сознании многих людей. Личное мужество Рудольфа Баро наделило эти идеи обновленной энергией.

**БУДАПЕШТ — ВАРШАВА — ПРАГА \***

Всего лишь на протяжении двенадцати лет, с 1956 по 1968 гг., мы были свидетелями, как население Венгрии, Польши и Чехословакии заявило о своем желании жить в свободном демократическом обществе. Выступление населения именно этих трех стран не случайно. После Второй мировой войны компартии Венгрии, Польши и Чехословакии пошли на серьезные уступки демократическим и социал-демократическим партиям, с которыми они в короткий послевоенный период сотрудничали в коалиционных демократических правительствах. Не случайно поэтому, что в Венгрии (в 1956 г.) и в Чехословакии (в 1968 г.) открыто высказывались требования восстановить традиции именно того послевоенного периода. В Польше же в те годы символом демократии стала личность Гомулки, вернувшегося к власти на волне польского Октября.

Помимо демократических традиций, мы наблюдаем в западной части Восточной Европы необыкновенную способность интеллигенции воздействовать на население, — в том числе и на коммунистов этих стран, — так как на западе Восточной Европы сохранилась историческая преемственность, благодаря которой интеллигенция все еще может "нести в народ" ценности, не признаваемые ленинизмом.

В этой работе мы не собираемся проводить исчерпывающий анализ событий 1956 и 1968 годов. Наша цель гораздо скромнее: выделить общие черты процессов, имевших место в Венгрии, Польше и Чехословакии в соответствующие годы.

В первую очередь необходимо отметить, что во всех странах Восточной Европы стремление к демократии неразрывно связано со стремлением урегулировать отношения с Советским Союзом, так как невозможно говорить о суверенных правах граждан, не решив предварительно вопроса государственного (национального) суверенитета. Вопрос отношений с СССР стоял на повестке дня как в Венгрии и Польше в 1956 году, так и в Чехословакии в 1968 году.

\* Статья была напечатана в журнале „Svědectví“, № 56, 1978 г., издаваемом на чешском языке в Париже.

Кроме того, во всех трех странах в борьбе за демократию наиболее активное участие принимали те же слои населения; выдвигались, в основном, аналогичные требования и цели; возникали те же препятствия. И во всех трех странах попытки создать более демократическое общество, к сожалению, не увенчались успехом.

Рассмотрим подробнее, что же происходило в Венгрии и в Польше в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

1. Во всех трех странах первыми с требованиями демократизации выступили работники партаппарата. Правда, выступали они только за "внутрипартийную демократию".

2. Во всех трех странах импульс исходил от интеллектуалов. Они же определяли направление процесса демократизации.

Интеллигенция этих стран находилась в те годы в довольно привилегированном положении и могла позволить себе многое. Мы уже говорили, что на западной окраине советской империи интеллигенция не порвала уз с прошлым и благодаря этому могла воспитать молодое поколение (и даже некоторых коммунистов) в духе ценностей, официально не признаваемых ленинизмом.

3. С течением времени во всех трех странах движения протеста становились более радикальными. Вначале выдвигались требования внутрипартийной демократии, то есть демократизации партийной жизни; позже можно было уже услышать требования гражданских свобод, и в конце концов — требования политического плюрализма.

Правда, восстановлена многопартийная система была только в Венгрии (в 1956 году), но сама логика "Пражской весны" предопределяла ликвидацию монопольной власти коммунистов, а в Польше в октябре 1956 года открыто говорилось о необходимости ограничения абсолютной власти компартии.

4. Ни в одной из этих стран во время событий 1956 и 1968 гг. не было выдвинуто требование нового упорядочения общественных отношений, требование полного восстановления частного предпринимательства. Опубликованные в этих странах политические программы колебались между децентрализацией плановой экономики и внедрением "подлинно общественной" формы собственности, то есть такой формы собственности, которая обладала бы определенной степенью автономии.



5. Ни в одной из этих трех стран в процессе борьбы за демократию не возникли политические, экономические или культурные институты, которые были бы способны пережить восстановление советской гегемонии (после поражения демократических движений) и действовать наряду с правящей коммунистической партией.

6. И, наконец, последнее сходство, которое мы наблюдаем, сравнивая события в Венгрии, Польше и Чехословакии, и, по нашему мнению, наиболее существенное: независимо от того, носило ли движение за демократизацию господствующей в стране системы радикальный или умеренный характер, независимо от того, проходил ли процесс демократизации в рамках существовавших в стране законов или с применением насилия; независимо от того, стремилось ли это движение к исправлению существующего в стране положения или к серьезным реформам -- во всех этих странах демократическое движение было подавлено.

Перечень сходных черт не ограничивается, однако, приведенными выше шестью пунктами.

Рассмотрим более подробно перечисленные в пункте 3 требования: от внутрипартийной демократии -- к плюралистической политической системе. Эти требования выдвигались постепенно, и, нам думается, что в последовательности их выдвижения можно проследить четыре этапа:

1. *Выступления в защиту внутрипартийной демократии.* На этом этапе выдвигаются требования демократизации методов партийной работы, открытой дискуссии, демократизации выборов, ослабления секретности и т.д.

2. *Выступления за соблюдение гражданских прав.* На этом этапе население как бы вновь открывает такие ценности, как свобода слова, свобода собраний, и либо требует легализации этих свобод, либо осуществляет их явочным порядком. Кроме того, на этом втором этапе общественные организации и средства массовой информации стараются освободиться от абсолютного контроля правящей партии (хотя на словах ведущая роль партии не ставится под сомнение). На этом же этапе восстанавливаются ценности, о которых умалчивает официальная идеология -- патриотизм, религия, неприкосновенность личности. На этом же втором этапе некоторые люди начинают подступать к

идее независимого, — а тем самым бесклассового, — судопроизводства. Эта идея принимает форму требования реабилитации невиновно осужденных жертв сталинских репрессий.

Следует отметить, что переход от первого этапа ко второму осуществляется не автоматически. Огромную роль при этом играет интеллигенция. На первом этапе, по существу выступая за демократические требования, интеллигенция нередко использует положения ленинизма, которые могут подкрепить ее требования. Такие действия интеллигенции достигают успеха при условии, если, опираясь на свой *моральный* авторитет, она оказывается способна противостоять *политическому* авторитету власти. И очень важно, чтобы хотя бы несколько всеми уважаемых интеллектуалов проявили гражданское мужество, так как от их поведения зависит, насколько удастся нейтрализовать страх и послушание остальных. Только в таком случае наступает переход с первого этапа движения за демократизацию ко второму. Если же сопротивление властей оказывается в данный момент слабым, то после первого этапа демократических выступлений может сразу настать третий.

3. *Требование автономии групп и общественных организаций.* От предыдущих этот этап отличается тем, что тут уже отрицается право партии ленинского типа контролировать все области общественной жизни. На этом этапе различные общественные группы начинают требовать права на автономию (пусть частичную), выступать против идеологии и практики всеобъемлющей партии-государства. Стремление отдельных групп общества к автономии, общее для всех трех стран, в каждой из них проявилось иначе. В Польше в 1956 году подчеркивалась необходимость создания таких законных органов управления, которые действовали бы наряду с компартией, при сохранении руководящей роли последней. В Чехословакии в 1968 году стремились к восстановлению законности, к созданию независимых от компартии органов следствия, суда и наказания, к созданию независимых профсоюзов и т.д. Венгрия в 1956 году добилась независимости — правда, всего на несколько недель, но за это время были созданы рабочие советы и революционные комитеты. Центральный совет рабочих Будапешта на протяжении этих нескольких недель был серьезным соперником венгерского правительства.

4. *Плюрализм*. Это четвертый этап — вершина, главная цель, к которой направлена демократизация Восточной Европы — не был окончательно завершен ни в одной из трех стран. Но все же контуры плюрализма обозначились в каждой из них. Плюрализм предполагает либо многопартийную систему, либо корпоративную, когда, наряду с правящей партией, действуют органы самоуправления, как, например, рабочие советы. В Венгрии за несколько дней до подавления легальной фазы революции (до начала вооруженных действий) правительство, совместно с президентом венгерской партии трудящихся, сообщило о восстановлении многопартийной системы, и общественность Венгрии восприняла это решение как самую важную победу в борьбе за демократию. В трудные для венгерской революции дни решение это восстановило единство нации.

Всеподавляющее присутствие Советского Союза в Центральной и Восточной Европе вынуждает нас отказаться от дискуссии о шансах установления *демократии* в странах этого региона и заняться вопросом о возможностях *демократизации коммунизма*. Об Имре Наде и Александре Дубчеке сделать окончательные выводы трудно: попытки реформ, предпринятые под руководством этих политических деятелей, были подавлены извне. Но зато опыт правления Гомулки и Кадара позволяет проследить, что происходит с процессом демократизации, когда известные реформы предпринимаются руководителями, которые признаны и утверждены Кремлем.

После Октября Гомулке удалось реализовать в Польше почти все, чего хотел в Венгрии Имре Надь в 1953-1954 гг., то есть еще до революции 1956 года. Кадар же установил границы, которые, вероятно, не должен был бы переходить Дубчек в период "Пражской весны".

Но как бы там ни было, опыт Польши и Венгрии дает исчерпывающий ответ на наш вопрос. Польша — как образец "границы неустойчивости", до которой способен дойти коммунистический режим, сохраняя свое господство. Венгрия же — как образец той степени терпимости, которую может позволить себе коммунистический режим, не утрачивая при этом прочности. Контраст между этими странами весьма выразителен и поучителен. В обеих странах гражданские свободы более или менее соблюдаются, — по крайней мере, соблюдаются больше, чем при

других коммунистических режимах. Но если в Польше гражданские свободы сохраняются за населением потому, что постоянно существует угроза взрыва общественного недовольства, то в Венгрии они существуют несмотря на то, что на протяжении ряда лет руководящая роль компартии не встречает сколько-нибудь заметной оппозиции. Правда, "потолок" прав и свобод венгерского населения определен при этом достаточно строго.

Чем же объяснить такое различие?

Терпимое отношение режима Кадара к некоторым гражданским свободам и так называемой консультативной демократии (мы имеем в виду использование экспертизы специалистов при принятии решений) уходит корнями в события 1956 года. Обе стороны — правящая и управляемая — извлекли из трагедии этого года урок. Власть осознала, что без конца закручивать гайки невозможно, а народ признал, что Советский Союз обосновался в стране прочно. Именно поэтому народ Венгрии согласился соблюдать предложенные правительством правила игры (венгры, кстати, относятся к своим руководителям скорее как к посредникам, чем как к угнетателям).

Итак, возможна ли демократизация коммунизма, может ли коммунистическое правительство допустить более широкое участие граждан в политической жизни, проявить большую степень терпимости? Нам думается, что *может*, но при условии, что граждане будут постоянно давить на власть имущих и что создастся опасность взрыва общественного недовольства. Тогда и только тогда власть пойдет на некоторые уступки, но при этом в границах, очерченных Польшей и Венгрией.

Эти границы определены: сохранение руководящей роли компартии. Правда, понятие "руководящая роль партии" довольно эластично. Под давлением внешних и внутренних факторов смысл его меняется. Эти факторы: настойчивое требование прав и свобод со стороны общественности и наличие готовой прислушаться к требованиям общества группы среди власть имущих. Оба эти фактора должны действовать одновременно.

Мы согласны с теми, кто, — как и Колаковский, — признает попытки реформ "недоразумением". Думать, что в странах с коммунистическими правительствами их гегемония может стать предметом обсуждения, так же нелепо, как надеяться установить

в этих странах демократию, не столкнувшись с гегемоном. И все же тут надо сделать две оговорки.

Во-первых, со временем такое "недоразумение" все же может случиться.

Во-вторых, в определенный момент могут сложиться необычные, — точнее, ненормальные, — условия, как, например, после трагического венгерского эксперимента в 1956 году, когда обе стороны, тяжело ранив друг друга, готовы на компромисс. Равновесие такого рода, разумеется, очень неустойчиво. Оно предполагает либо постоянное наличие в стране накаленной обстановки (как в Польше), либо высокую сознательность населения (как в Венгрии). В определенный период такое равновесие может быть из ряда вон выходящим, в другой — может стать правилом. Тридцать лет советского господства преподали народам Восточной Европы хороший урок, приучили их довольствоваться малым.

"Кадаризация", быть может, произойдет не только в Венгрии.

Напрашивается еще один вопрос: почему коммунисты так упорно защищают свою монополию на власть, почему они не демократы? Ответ может показаться чересчур простым, но им определяются прогнозы будущего коммунистических режимов.

Ответов, собственно, уже великое множество. (И не мудрено: ведь вопрос стоит начиная с 1917 года.) Говорят о наследии азиатского деспотизма, о том, что абсолютная власть и развращает абсолютно, говорят о замкнутом круге, в который попадает силой захватившее власть меньшинство; говорят, разумеется, и о трудностях, с которыми в процессе модернизации сталкиваются отсталые страны; говорят об отсутствии демократических традиций, о склонности революционной власти применять простые и быстродействующие методы, об отвращении марксистов к формальному праву и т.д. и т.п. Во всех этих ответах есть доля правды, но ни один из них не дает ключа к загадке, что именно отталкивает коммунистов от демократии?

Задавая вопрос "Почему коммунисты не демократы?", мы не имеем в виду эгалитарную концепцию демократии, демократию равных. Под демократией мы подразумеваем признание, что решение общественных вопросов, как и реализация этих решений, опирается на постоянно возобновляемый договор между отдельными лицами и обществом в целом.

Под демократией мы подразумеваем "открытое общество", будущее которого не предопределено. Такое определение демократии позволяет ответить на поставленный вопрос. Ленинское неприятие демократии рождено неприятием обязательства постоянно возобновлять общественный договор, так как у ленинизма свое видение истории, будущее в нем предопределено. С точки зрения такой концепции, сама идея демократического общественного договора, — то есть идея власти, обусловленной временем и согласием общества, — представляется абсурдом. Демократия становится недопустимой принципиально, так как коммунисты не могут позволить, чтобы выбор поставленной цели, выбор общественных институтов и политической системы, как и выбор руководящих кадров, основывался на компромиссах.

Однако, даже из этого железного правила коммунизма бывают исключения и отклонения; компромиссы по определенным вопросам и на определенное время вероятны и в странах реального социализма. И что еще может случиться в той или иной стране с коммунистическим правительством — не предопределено.

## ПОЛЬСКИЙ ДИАЛОГ : ЦЕРКОВЬ — ЛЕВЫЕ \*

Я буду пользоваться термином "неверующие левые". Ввиду нестрогой формулировки, объясню, что я под ним понимаю, на примере четырех вех новейшей истории Польши. Это 1936, 1946, 1956 и 1966 годы — с отступом ровно в десятилетие.

Довольно легко определить, кто был левым в 1936 году. Характерные черты левизны в те времена — антифашизм, требования планового хозяйства, земельной реформы и отделения Церкви от государства. Польские левые ни в чем не отличались от классических западноевропейских образцов — так же, как и польские правые. Десятью годами позже картина была куда сложнее.

Следом за официальной историографией и мы привыкли отождествлять левизну образца 1946 г. с поддержкой "новой жизни" и новой власти, установленной на штыках Красной Армии. Многие, особенно в среде польской интеллигенции, применяли этот же критерий и тогда. К левым идеалам апеллировали идеологи ППР (Польской рабочей партии); их же провозглашали нацеленные на сотрудничество с коммунистами руководители "официальной" ППС (Польской социалистической партии). Тем не менее, подавляющая часть актива довоенной ППС выступила против "новой жизни", в оппозицию к которой стали и некото-

---

\* Отрывки из книги Kosciół, Lewica, Dialog; Instytut literacki, Париж, 1977. В аналогичном виде работа А. Михника вышла по-английски в сборнике *Communism and Eastern Europe* (под редакцией Фр. и Ларисы Силницких и К. Реймана), Karz Publishers N.Y. 1979 and The Harvester Press, London 1979. Здесь печатаются отрывки из русского издания книги А. Михника "Польский диалог: Церковь — левые", Overseas Publications Interchange, London 1980 (перевод Н. Горбаневской). Редакция выражает благодарность Overseas Publications за разрешение использовать их текст.

рые видные левые интеллигенты, — внутри традиционных левых кругов произошел раскол. "Кузница"<sup>1</sup> и ее редактор Стефан Жулкевский подчеркивали прогрессивность проводимых социальных реформ. Руководители ВРН<sup>2</sup> (основная часть "неофициальной" ППС) так же, как Мария Домбровская или Зыгмунт Жулавский, подчеркивали реакционность и тоталитарность методов проведения реформ. Это разделение левых на два лагеря не стоит упускать из памяти. Слишком многие публицисты — на мой взгляд, довольно легкомысленно — ставят знак равенства между Передовым Строем и политическими программами всего левого лагеря. Как показывает опыт, эти программы совсем не обязательно тождественны одобрению деспотизма и лжи.

Еще через 10 лет, в 1956-м, в год "польского Октября", левые определили себя через двойное отрицание: они были против консервативно-реакционных сил внутри партии и одновременно против традиционных правых, воплощением которых для них была, прежде всего, католическая Церковь. Журнал "По Просту"<sup>3</sup> напал разом и на сталинистов, и на католических законоучителей; Лешек Колаковский, идеолог "октябрьских левых", систематически подвергался партийным обвинениям в оппозиционерстве, ревизионизме и прочих ересьях и в то же самое время был сотрудником журнала "Аргументы", органа Товарищества атеистов и свободомыслящих, где шла яростная полемика с религией и католической Церковью. "Ревизионисты" были, по большей части, вчерашними сталинистами, взбунтовавшимися против партийного прагматизма. На волне "Октября" они постепенно установили духовную связь с неизменно антисталинскими левыми, а врагов по-прежнему видели двух: ЦК партии и католическую Церковь. Отрицательные последствия такого положения обнаружились еще десятью годами позже.

1966 год прошел под знаком острого конфликта между руководством ПОРП (Польской объединенной рабочей партии) и епископатом. Ревизионисты, а также группа молодежи, объединявшаяся вокруг программы Куроня и Модзелевского, оказались перед лицом самого серьезного за последние годы политического конфликта в стране. Никто из этих людей — а их порядочность и отвага несомненны — не высказался в этой ситуации. Ни Лешек Колаковский, ни Влодзимеж Брус, ни Мария Оссовская, ни Антоний Слонимский — ни один из духовных вож-



дей левой интеллигенции не выступил публично против завравшейся пропаганды, которая бросила епископам абсурдное обвинение в предательстве национальных интересов....

В одной из проповедей в конце 1965 года кардинал Вышинский с одобрением упомянул эссе Колаковского "Иисус Христос — пророк и реформатор". Эссе Колаковского вместе с положительным комментарием Примаса Польши могли стать исходной точкой сближения Церкви и неверующей интеллигенции. Вышло иначе. Колаковский на страницах печати отмежевался от кардинальской интерпретации своей статьи. На протяжении всего конфликта вокруг послания епископов Колаковский хранил молчание. Он прервал его в октябре 1966 г., произнеся перед студентами Варшавского университета лекцию о десятой годовщине "польского Октября". В блистательной и вдумчивой речи Колаковский подвел итог десятилетнему правлению "октябрьского" партийного руководства. Это подведение итогов, произведенное с позиций оппозиционной интеллигенции, содержало столь критические суждения и столь радикальные формулировки, что Колаковский был тут же исключен из партии. Однако и в этой речи, резкой и далеко идущей, не было ни одного высказывания, затрагивающего политику партии по отношению к религии и Церкви. Неверующие левые понимали необходимость борьбы за расширение демократических свобод, но не видели в Церкви союзника.

И вот, еще через десять лет, я снова задаю вопрос: что же такое "левые" сегодня, в 1976 году? И не могу ответить на это однозначно. За последние годы, в результате краха официальной коммунистической идеологии, усилились и распространились националистические настроения. Это видно как в правящих кругах, так и в среде оппозиции. И власть, и оппозиция расслоены. Меня больше интересуют подразделения внутри оппозиции. Пользуясь формулировкой одного из моих друзей, скажу, что оппозиция состоит из тех, у кого оппозиционность основана на убеждении в превосходстве капиталистической системы, и тех, программой которых является идея демократического социализма. Я понимаю, насколько я все упростил, но, придерживаясь этого упрощения, скажу еще, что левых я отождествляю с этими вторыми. Это они провозглашают идеи свободы и терпимости, суверенности человеческой личности и освобожде-

ния труда, справедливого распределения национального дохода и равенства шансов для всех — и выступают против шовинизма и национального угнетения, обскурантизма и ксенофобии, бесправия и социальной несправедливости. Программа левых -- это программа антитоталитарного социализма.

\* \* \*

Отношения между католической Церковью и социалистическим движением сложились плохо с самого начала. Господствовала взаимная вражда... Для Церкви программа социалистического движения была разрывом с принципами природного Божественного права и предвещием нравственного нигилизма. Учитывая исторический опыт, можно сказать, что в церковных предостережениях, над которыми, кстати, социалистические авторы не устали насмехаться, было немало верного, были мысли, которые и сегодня стоило бы припомнить. В свою очередь, социалисты упрекали Церковь во враждебности к социальным реформам, в тесном контакте с сильными мира сего, в желании подчинить себе все сферы мирской жизни, наконец — в нетерпимости по отношению к иноверцам и неверующим. Следствием отрицательного отношения социалистов к политической роли Церкви была их враждебность к религии как к таковой и программный атеизм. Маркс, например, понимал религию как идеологическое обоснование господствующих отношений и толковал ее исключительно в категориях ложного сознания. "Религия, — писал Маркс, — это вздох угнетаемого существа, сердце бесчувственного мира, душа бездушных отношений. Религия — опиум для народа". Маркс провозглашал "позитивную отмену религии". "Критика религии, — писал он, — завершается тезисом о том, что человек есть для человека высшее существо, следовательно, она завершается категорическим требованием уничтожения всех отношений, в которых человек есть существо унижаемое, подавляемое и достойное презрения".

Антропоцентризм и атеизм Маркса обращены против определенных социальных функций, которые религия исполняла, до которых была сведена на протяжении веков. Я хочу быть хорошо понятым: я не утверждаю, что в цельной историософской конструкции Маркса или Энгельса остается место для Бога, христианского или любого другого; но я убежден, что реши-

тельный атеизм Маркса корнями уходил не столько в его ненависть к самой идее трансцендентности, сколько в его отношение к консервативно-охранительной доктрине тогдашней Церкви.

В польских условиях механизм был сходным. Сошлюсь на свидетельство человека, которого нельзя заподозрить ни в коммунизме, ни в маниакальной неприязни к религии и Церкви. Ежи Завейский<sup>4</sup> писал:

”Так чем же были Церковь и католицизм для нас, бывших социалистов и ”оглашенных” междувоенного двадцатилетия? С болью должен признаться, что Церковь в лице своих официальных представителей, т.е. клира, была для нас величайшей преградой на пути к вере и католицизму. Католицизм равнялся для нас антисемитизму, фашизму, мракобесию, фанатизму и всему, что противостоит культуре и прогрессу. В Сейме примитивным языком и примитивными методами воевали тогдашние ксендзы-депутаты. Антисемитская деятельность о. Третьяка, полная яда и ненависти, была оскорбительна для всех. Так называемая всепольская молодежь выставляла в своей программе лозунги Бога и Отечества, звучавшие для нас однозначно. В них заключалось все реакционное, агрессивное, питаемое ненавистью. Схватки в университетах только пятнали репутацию католической молодежи: именно из ее среды являлись молодчики с бритвами и кастетами.

Некоторая часть католиков поддерживала националистические, даже фашистские движения, ведя бой с ”врагом” на всех фронтах светской мысли, с врагом вымышленным, который не хотел и часто не принимал этого боя”...

Конфликт польских левых с католической Церковью был во времена Второй Речи Посполитой конфликтом тотальным...

(А после войны) На повестке дня стоял не диалог об идеях или о мировоззрении, но острый политический конфликт (на этот раз) между довольно консервативной католической Церковью и размахивающей радикально-прогрессивными лозунгами тоталитарной властью.

Не отрицая необходимости социальных реформ, Церковь твердо защищала свои территории. Епископат последовательно

атаковал все шаги новой власти, которые вели к секуляризации общественной жизни. Поэтому, кстати, предметом долгой критики было введение гражданских браков и закона о разводах. Антицерковная и антирелигиозная политика властей, а с другой стороны — несогласие епископата на отделение Церкви от государства привели к тому, что стала очерчиваться некая линия фронта в политических конфликтах — рубеж вероисповедания. Рубеж этот, разумеется, не был механическим. Было много людей, которые отвергали новую власть, не принадлежа к католической Церкви... Были и, наоборот, католики, которые приняли новый порядок и власть коммунистической партии. Точнее говоря, провозглашая себя католиками, они не забывали подчеркнуть, что они — "левые католики"...

Поэтому можно говорить о двух типах рубежей и конфликтов. С одной стороны, источником конфликта было сопротивление Церкви секуляризации общественной жизни, отделению Церкви от государства (а это требование было неотторжимым элементом левых программ на протяжении десятилетий). С другой стороны, левые католики — брешь во фронте вероисповедания — определяли себя, главным образом, через поддержку политики новой власти, которая тем временем изо дня в день все более обнажала свой тоталитарный характер.

Огромное большинство левой интеллигенции — не одни только левые католики — поддержало пришедших к власти коммунистов. Достаточно просмотреть комплекты литературных и общественно-политических журналов того времени, чтобы в этом убедиться... Тогда-то и начался этот бег по наклонной плоскости, который привел многих благородных и честных людей к оправданию сталинской лжи, насилия, преступлений.

Это тема особая, важная, заслуживающая серьезного исследования. Я не хотел бы ни легкомысленно обвинять людей, которые отождествляли себя с левизной, — такие обвинения стали модными, — ни легкомысленно их оправдывать, что тоже начинает входить в моду. Мотивы их были, безусловно, различны, однако для меня не подлежит сомнению, что одним из существенных факторов совершавшегося тогда идейного выбора был страх перед клерикальными правыми, страх, порожденный определенным представлением о польском католицизме и нередко оправданный действительной реакционностью довоенной католи-

ческой Церкви. Традиционным приверженцам левизны легче было принять насилие, когда оно служило делу столь бесспорному, как секуляризация общественной жизни.

\* \* \*

Этот аргумент постоянно повторяется в разговорах с людьми, ставшими на сторону ППР. Тогдашний свой идейный выбор они мотивируют страхом перед силой и влиянием лагеря реакции. "Третьего пути не было, — говорят они и прибавляют: — Мы были не в состоянии предвидеть, что произойдет дальше, но мы хорошо помнили политику католической Церкви до 1939 года". В свою очередь, католики, люди, которые с 1945 г. остаются в твердой и последовательной оппозиции к коммунистической власти, говорят сегодня: "Как можем мы доверять тем, кто тогда растоптал наши самые элементарные права? Как можем мы сотрудничать с теми, кто вступил тогда в сговор с ложью и насилием и никогда не свел счетов с прошлым?" Следствием обоих стереотипов было, между прочим, в высшей степени пагубное молчание левых в 1966 г., когда шла облава на епископат, а также в высшей степени болезненная сдержанность католических кругов в 1968 г., во время погрома интеллигенции (исключением было выступление депутатов группы "Знак").<sup>5</sup>

Значительная часть интеллигенции связывала с послевоенными реформами надежды на ликвидацию социальной и культурной отсталости, на воплощение в жизнь мечты о справедливой и современной, толерантной и демократической Польше. Существенной чертой воображаемого облика было отделение Церкви от государства. Поэтому все правовые реформы, способствовавшие этому отделению, встречали естественное одобрение неверующих левых. Так было и в случае введения гражданских браков и закона о разводах. Это было сделано очень быстро, уже в 1945 году.

Против этих реформ выступил епископат. Надо заметить, что острое его выступление не было направлено против разводов католиков, — это было бы легче понять. Епископы выступили против права на развод и тех граждан польского государства, которые находились вне католической Церкви. С точки зрения неверующего, все становится вроде бы очевидным: Церковь просто-напросто защищает свою привилегированную по-

зицию. Следовательно, и полное одобрение левой интеллигентной коммунистической политики секуляризации не должно бы возбуждать возражения?

Увы, вопрос этот я не могу посчитать ни простым, ни однозначным. Совершенно ясно, что в политическом контексте целью этих правовых актов было вовсе не отделение Церкви от государства, а подчинение Церкви государству, программой которого было навязать народу атеизм. Стремление подчинить Церковь входило в политическую линию на полное подчинение режиму всего общества, на уничтожение всех независимых общественных сил.— одним словом, оно входило в политику превращения общества в тоталитарное.

Можно бы возразить, что отделение Церкви от государства всегда положительно; даже если производит его власть, в остальном мало нам симпатичная. Отвечу на это: существует принципиальная разница между стремлением к такой секуляризации общественной жизни, где религия — с точки зрения государства — становится частным делом граждан, и стремлением установить господство атеизма, т.е. ликвидировать религию и Церковь. Отвечу также: условием подлинного отделения Церкви от государства является отделение государства от Церкви, а не превращение Церкви в послушное орудие в руках атеистической власти (как в СССР). Условие отделения Церкви от государства — полная свобода отправления религиозного культа. Это отделение означает, что неверующие перестают быть гражданами второго сорта, но отнюдь не означает, что гражданами второго сорта становятся верующие. И безусловно ложно отождествлять правовую секуляризацию и государственную пропаганду идеологии "марксизма-ленинизма" в ее сталинском варианте. Идеология эта, выдавая себя за науку, исполняла все функции официальной государственной религии. Если признать, что почитание Бога должно быть для государства делом посторонним, то столь же посторонним должно быть почитание кумиров Партии, Истории или Прогресса.

Здесь стоит припомнить точную формулировку французского мыслителя Жана-Мари Доменака, который писал:

"Секулярностью мы, в точном смысле, называем недо-  
зволение какой-либо идее монополизировать государство.

Поэтому мне кажется, что секулярность наилучшим образом страхует политическое сознание от гипертрофии и защищает общество от идолопоклонства”.

У Доменака секулярность — ”это гарантия, которую мы создаем все вместе, верующие и неверующие, против захвата государства тоталитарными философиями”.

Мне нечего добавить к точной формуле Доменака. Замечу лишь мимоходом, что, пройдя через марксизм, левые могли бы запомнить, что истина конкретна. Еще можно вообразить размах иллюзий 45-го года, но невозможно понять людей, которые сегодня, тридцатью годами позже, повторяют все те же тезисы. Иными словами: оценка определенных идей зависит от контекста, в котором они провозглашаются. Антиклерикализм (но не антирелигиозность) в довоенной Польше, на мой взгляд, был выражением прогрессивно-демократических устремлений. Хотя и не без горечи перечитываю сегодня довоенное высказывание кардинала Вышинского, что ”интеллигенция наша нередко... готовит почву для коммунизма, а себе — эшафот”, а все-таки сопротивление политической практике Церкви было в то время — по крайней мере, с позиций неверующих левых — разумным и объяснимым. Но тот же самый антиклерикализм обрел совершенно иной смысл, когда Церковь сопротивлялась стремлениям государственной власти тотально овладеть духовной жизнью общества.

То, что накануне было прогрессивно и демократично, что, казалось бы, вело к свободе и терпимости, в изменившихся условиях стало служить реакции, отворять ворота насилию и тупому фанатизму. Левые — автор и себя включает в это понятие — не имеют права забыть об этом. Мы стали бессознательным оружием в руках тоталитарной власти, которая по чужеземному мандату и с чужеземной поддержкой правила во вред польскому народу. Пока мы не признаем этого ясно и открыто, мы не можем рассчитывать на понимание и доверие со стороны тех, чьи биографии не похожи на наши. ...

\* \* \*

Последовательно рассчитываясь с собственными традициями и собственным прошлым, я чувствую себя обязанным именно

здесь объяснить, что способствовало принципиальному преображению образа Церкви и христианства в глазах таких людей, как я, совершенно от них далеких (если не сказать — прямо враждебных). Я думаю здесь о роли, которую сыграл в нашей духовно-интеллектуальной жизни журнал "Вензь".<sup>6</sup> ...Я только напомню некоторые черты редакционной политики "Вензи": упрямое и последовательное стремление к диалогу с людьми иного образа мыслей; терпеливое усилие в засыпании рвов, которые отделяют верующих от неверующих; постоянный выход за невидимые перегородки вероисповедания.

"Вензь" нашла язык, который доходил до нас; "Вензь" выстраивала новый тип идейных контактов. Легкой жизни у редакторов журнала не было. С ними остервенело боролся ПАКС;<sup>7</sup> им не доверяли ни в среде мирян, ни в епископате. Паксовцы, принявшие тоталитарный социализм, видели в "вензевцах" сторонников социализма в его гуманистическом виде. Клерикальные круги обвиняли журнал в том, что он — "троянский конь" модернистских новинок. На самом же деле, ... терпеливой и дальнорзоркой политикой редакция "Вензи" сумела показать нам куда более истинное лицо католической Церкви, дала понять глубокий смысл позиции католических епископов, а некоторым открыла и трансцендентность. Благодаря интеллектуальному опыту, которым для нас было чтение очередных номеров "Вензи", я обрел теперь иной взгляд на всю историю Церкви и особенно на роль Церкви в последнее тридцатилетие жизни нашего народа. ...

\* \* \*

В эпоху усиленного сталинского террора (1948-1955) Польша была страной бесправия, Конституция — клочком бумаги, религиозные свободы — фикцией. ... Церковь защищала свою веру и свое право гласить евангельское учение.

Попытаемся реконструировать основные этапы тактики католической Церкви, пользуясь церковными документами эпохи и пастырскими посланиями епископата и Примааса Польши.

В послании епископата к польской католической молодежи (15 апреля 1948) читаем:

"Новые потребности, вставшие перед восстанавливающейся Отчизной, неизбежные социально-экономические пе-



ремены совпали с усиленной пропагандой материалистического мировоззрения. ... Все чаще и чаще мы слышим бездумные заявления о том, что воспитание, основанное на христианских принципах, изжило себя, и что надо искать новых способов формирования молодых поколений. Распространяется лозунг "полной перестройки сознания человека", под которым разумеется основать воспитание на материалистическом мировоззрении: переустройство мира и приспособление человека к новой эпохе должно происходить без Бога и религии, вне христианской традиции народа. ... Церковь не может согласиться на воспитание католической молодежи без Бога, при замалчивании Его учения, при отрицании Его заповедей. ...

... Основательное образование постепенно откроет вам широкие просторы жизни, где хозяйственные дела немаловажны, но они отнюдь не все, ибо не в них исполнение всех человеческих стремлений. ... Не соблазняйтесь материализмом старших, однако уважайте добрую волю тех материалистов, что искренне трудятся для лучшего будущего трудящихся масс. ... Будьте в жизни реалистами, но в границах Божественного права, — и никогда не отказывайтесь от христианских идеалов. Трудитесь не только на благосостояние страны, но и ради ее христианской культуры и ради духа Христова. ...

Любите ближнего искренней любовью евангельской. ... Остерегайтесь ненависти — адского порождения. Пред лицом послевоенного упадка порядочности не допускайте никакого ущерба ближнему, остерегайтесь себялюбия. ... И возлюбите истину. Будьте ее исповедниками и апостолами. Ложь губит душу и противоречит как нравственным устоям, так и основам национального возрождения.

В пастырском послании польского епископата на праздник Царя Иисуса епископы, в частности, писали:

"Не посылайте детей в школы, где отменены уроки Закона Божьего. Нет в Польше закона, принуждающего записывать детей в школы без обучения религии. ... Мы призываем всех к творческому деланию. Мы все по совести исполняем свои профессиональные обязанности. Пусть

крестьяне старательно засевают поля. Пусть в доменных цехах, шахтах, канцеляриях и магазинах кипит благородный труд — призвание человека. Пусть из месяца в месяц восстанавливается польская жизнь, столица, города, сады, церкви. Храните доверие и спокойствие духа. Храните чувство личного, национального и католического достоинства. Пусть никто не позволит темным элементам спровоцировать себя на неразумные шаги. Польская жизнь нам дорога и свята. Не следует рисковать ею без нужды. Кровь польскую нельзя расточать в бесцельных схватках. Народ должен остаться сильным, жизнеспособным, умеющим выстроить свое завтрашнее величие.”...

... Программа, сформулированная епископами, — это борьба за право преподавания религии, за право на католическое воспитание молодежи. Рекомендуемый в пастырских посланиях образец поведения — верность принципам христианской этики и культивирование евангельских добродетелей. Призыву сопротивляться ”материалистическим течениям” (т.е. коммунистической идеологии) сопутствует решительное предостережение от связи с вооруженным подпольем. Это призыв не столько к политической, сколько, так сказать, к нравственной и философской оппозиции. Такая программа вытекала из реального положения в стране. В 1948 г., через год после сфальсифицированных выборов в Сейм, были ликвидированы последние остатки политического плюрализма. Еще в сентябре 1946 г., перед выборами, епископы призывали католиков голосовать ”только за таких лиц, списки и избирательные программы, которые не противостоят католической доктрине и нравственности”. В 1948 г. перед поляками больше не было возможности делать какой бы то ни было выбор. Власть коммунистов — и в действительности, и в массовом сознании — укрепилась без всякой надежды на ниспровержение. Программа епископов была программой выживания и умеренности. ...

Тон пастырских посланий 1949 г. уже иной. За год наступило резкое обострение международной обстановки. Начался конфликт Сталина с Югославией. В Польше объединили ППР и ППС и начали резкую кампанию против ”право-националистического уклона”. Была провозглашена программа коллективизации и политика заострения партийной бдительности, что было тождест-

венно нарастанию полицейского террора. Все это отразилось и в политике государства по отношению к Церкви. Свидетельство тому дают как правительственные публикации, так и церковные документы. "14 марта 1949 года, — читаем мы в книге Миколая Ростворовского "Слово о ПАКСе" (Варшава, 1968), — секретарю польского епископата, епископу Зыгмунту Хороманскому было передано заявление министра общественной администрации по вопросу об отношениях между государством и Церковью. В заявлении нагромождались обвинения в "усилении враждебной правительству и народному государству деятельности определенных групп духовенства". "Правительство не потерпит никаких подрывных действий", — утверждалось в заявлении. ...

Программа епископов была, несомненно, программой защиты Церкви. Тот или иной из пунктов этой программы может показаться нам реакционным и неприемлемым. Будем, однако, осторожны в таких суждениях, ибо здесь легко дойти до нелепицы. Вот хотя бы один пример аргументации, достаточно распространенной среди левой интеллигенции. Один публицист, описывая политику епископата, писал в 1964 г.:

"На одном из заседаний епископата в мае 1946 г. церковные власти высказались по поводу ряда антисоциалистических выступлений в нашей стране, в том числе по поводу инцидентов, организованных традиционными силами реакции под флагом антисемитизма. Когда Лига борьбы с расизмом обратилась к епископату с просьбой осудить эти явления, епископы решили, что на письмо Всепольской лиги ответит сам Примас Польши. А Примас заявил, что евреи погибают не как жертвы польского антисемитизма, но как передовые бойцы коммунизма. Конференция епископата не позволила себе обратиться к населению, ибо такое обращение носило бы политический характер."

Так пишет публицист. Вопрос об антисемитских происшествиях (самым знаменитым из них был погром в Кельцах) достаточно сложен, чтобы разбирать его здесь. Трудно судить о позиции епископата, приведенной в недружелюбном изложении, но можно ли забыть, что католическая интеллигенция, группировавшаяся вокруг "Тыгодника Повсехного",<sup>8</sup> опубликовала за-

явление, безговорочно осуждающее антисемитские эксцессы. Следует также отметить часто приводимую ... версию о том, что эти эксцессы были инспирированы госбезопасностью, а тогда картина вовсе затуманивается. Я процитировал вышеприведенное высказывание, чтобы напомнить читателю, что автор цитируемой статьи – Войцех Помыкало, главный редактор двухнедельного журнала "Выховане", известный своими черносотенными выступлениями, особенно в 1968 году. Обвинение польских епископов в антисемитизме звучит в устах Помыкало настолько гротескно, что не требует полемики и комментариев. Не следует ни на минуту упускать из памяти контекст, в котором формулировались обвинения по адресу Церкви. Сегодня нас может шокировать последовательная защита обучения религии в школе, но учтем, что, памятуя о печальной судьбе Церкви и религии в СССР, епископы справедливо считали, что отмена уроков Закона Божьего в школе будет началом полной ликвидации обучения молодежи катехизису. ...

19 октября 1956 г. начались заседания VII пленума ЦК ПОРП, который вознес Владислава Гомулку на пост первого секретаря. 26 октября в Команчу, где находился под арестом кардинал Вышинский, прибыли близкие сотрудники Гомулки. ... Примас Польши – после трехлетнего перерыва – вернулся в Варшаву и снова стал во главе Церкви.

Освобожденный из тюрьмы Примас Польши не включился в политические баталии. Единственной областью, где Церковь оказала давление, был вопрос обучения религии в школах. Миколай Ростворовский пишет:

"8 декабря было заключено словесное соглашение между правительством и польским епископатом: уроки Закона Божьего будут введены в школах как факультативный предмет для тех учеников, родители которых индивидуально и письменно выразят свое желание обучать детей". ...

Получив власть в партии, Владислав Гомулка тут же начал усмирение "располитиканствовавшегося" общественного мнения. Уже в первых его речах появляются атаки на "ревизионистов", на их программу, составными частями которой были

власть рабочих советов, независимые от партии профсоюзы, ликвидация предварительной цензуры, плюрализм в молодежном движении и т.п.. Стремясь политически нейтрализовать Церковь и католические круги в ходе конфликта с ревизионистами, новое руководство партии, кроме упомянутых уступок, также выразило согласие на восстановление "Тыгодника Польшехного" под "старой" редакцией Ежи Туровича (журнал был ликвидирован в марте 1953 г. и затем передан ПАКСу). Эти тактические шаги власти щедро окупались.

Вскоре после того, как в школах было восстановлено обучение катехизису, на страницах ревизионистской прессы, в том числе и органа "бешеных" еженедельника "По Просту", появились статьи, атакующие нетерпимость законоучителей и дискриминацию детей, не посещающих их уроки. В этих статьях легко заметить критическое отношение к самому принципу обучения религии в школе. ... Атеизм и антиклерикализм были постоянными компонентами идеологии польского ревизионизма. Даже в самых острых критических анализах сталинизма, производимых ревизионистами, преследование религии и Церкви не клеймилось -- в нем видели всего лишь ошибочную тактику, которая, сталкивая Церковь на край катакомб, укрепляла "религиозные предрассудки". Я рискнул бы даже сказать, что многие ревизионисты считали серьезное ограничение влияния католицизма и Церкви одним из немногих достоинств эпохи "ошибок и извращений". Имело свое значение и то обстоятельство, что, критикуя партию и партийную ортодоксию, ревизионисты чересчур часто прибегали к аналогиям с католической Церковью. Партия, можно сказать, была для них тем более антипатичной, чем больше напоминала им Церковь. Клеймя иррациональность и фидеизм туманных конструкций сталинского "диамата", ревизионисты выступали как идейные наследники философов-рационалистов. "Фанатической вере" сталинистов они противопоставляли "разум" и терпимость.

В атаках ревизионистов на тяжелую атмосферу в школе после восстановления уроков религии, вероятно, была большая доля истины. Трудно не согласиться с требованием отделения Церкви от государства по французскому образцу. Однако эти нападки и аргументы, должно быть, звучали довольно фальшиво и двусмысленно для ушей католиков. "Как это так? -- возникал у

них вопрос. — Это *теперь* в них проснулись защитники терпимости? А где же была столь дорогая им терпимость, когда религиозное обучение затрудняли, когда католическую Церковь преследовали, когда ликвидировали "Тыгодник Повсехный" и сажали в тюрьмы священников?" Вероятно, с точки зрения вчера еще преследуемого епископата ревизионисты выглядели особенно отталкивающе. Только вчера они нападали на религию и епископов, только вчера они были партийными идеологами и восхваляли режим, когда он был особенно жесток, а сегодня, по-прежнему не признавая своей личной ответственности, перекладывая вину на объективные обстоятельства и на кого-то другого, они посыпают чужую голову пеплом и, не снимая все той же тоги моралистов, громят нетерпимость тех, кого они вчера преследовали. Да и сама оппозиционность ревизионистов по отношению к новому партийному руководству должна была вызывать подозрения у натерпевшихся католиков. "Откуда этот нравственный ригоризм у недавних апологетов политики Берута? Почему они так непреклонны по отношению к сравнительно либеральной линии Гомулки, который провозгласил желание уберечь народ от советского вооруженного вмешательства, от повторения между Одрой и Бугом венгерской трагедии?" ...

Уступками, сделанными Церкви, правительство торпедировало любые возможные попытки сближения между церковной иерархией и традиционно католическими кругами, с одной стороны, и ревизионистами, с другой.

\* \* \*

Публичные высказывания епископата первых послеоктябрьских лет характеризуются аполитичностью, умеренностью формулировок и даже некоторой доброжелательностью по отношению к режиму. ... Всякие конфликты между правительством и иерархией оставались в тени.

Это не означает, что таких конфликтов не было...

В июне 1962 г. епископат опубликовал документ под названием "Современная секуляризация". В этом документе ... сделано различие между секуляризацией как объективным, типичным для нашей эпохи феноменом естественного обмирщения и секуляризацией как "организованной деятельностью, направленной

на ускорение процесса обмирщения и на руководство этим процессом". Во втором своем значении секулярное движение в Польше, по мнению авторов документа, — "политическое движение, ибо оно подчинено политическому планированию, руководимо политическими инстанциями, поддерживается и проводится в жизнь административными средствами. ...Это движение тоталитарное, ибо оно стремится подчинить своему влиянию все проявления общественной, семейной и личной жизни и исключить из нее любые суждения и оценки, основанные на религии. Это движение не оставляет свободы выбора. Все дети и вся молодежь могут учиться только в школах, работающих на секуляризацию. ...

Гомулковское руководство, скорее всего, никогда всерьез не планировало длительного сосуществования между Церковью и государством. Заявления и уступки 56-го года были тактическими шагами, вызванными сложной политической ситуацией и слабостью нового руководства. Чем прочнее становилась политическая стабилизация, тем больше нарастали антицерковные репрессии. ...

Обострение конфликта между государством и церковью было и следствием и одним из направлений всей политики властей на ограничение демократических свобод. Прежде, чем по Церкви, эта политика ударила по "ревизионистским" кругам, проще говоря — по некатолической интеллигенции.

Отход от лозунгов и практики польского Октября начался сразу же после того, как Гомулка пришел к власти. После газетных нападок на ревизионистов наступили административные мероприятия. Ровно в первую годовщину VIII пленума, который сделал Гомулку первым секретарем, был ликвидирован весьма популярный еженедельник молодой интеллигенции "По Просту". Чтобы разогнать студенческие митинги протеста, использовали милицейские отряды, которые вели себя крайне жестоко. Тогда же ликвидирован — еще до выхода первого номера — литературный журнал "Европа". Это вызвало выход из партии нескольких видных писателей (Ежи Анджеевского и других). Практически был ликвидирован в начале 1958 г. еженедельник "Нова Культура". Когда ему стали навязывать новую идейную линию через представлявшего партийное руководство Анджея Вербляна, ушла почти вся редакция. ... К 1961 г. лишились руководя-

щих постов представители либерального крыла партии. ... В то же самое время перестал быть председателем Союза писателей Антоний Слонимский. Активизируются политическая полиция и прокуратура -- об этом свидетельствуют аресты и процессы начала 60-х годов. В начале 1962 г., используя полицейскую провокацию, ликвидируют Клуб Кривого Колеса, один из последних пережитков Октября, одну из последних подлинных аудиторий свободного слова в Польше. В 1963 г. закрыт "Пшегленд Культуральны", еженедельник, сохранявший некоторую независимость от первобытно-националистических тенденций партийного аппарата. На XIII пленуме ЦК ПОРП (июль 1963) была провозглашена борьба с "враждебными тенденциями" в науке и культуре. Распустили дискуссионный клуб в Варшавском университете и "Клуб искателей противоречий", организованный старшими школьниками. Усиливающиеся цензурные ограничения привели к резкому конфликту между партийным руководством и интеллигенцией. Внешним проявлением этого конфликта был громкий скандал вокруг "письма 34-х".<sup>9</sup> Осенью 1964 г. прошел процесс Мельхиора Ваньковича, летом 1965-го -- Яна Непомуцена Миллера. Той же осенью 1964-го возникло первое громкое дело Куроня и Модзелевского -- в июле 65-го Куронь был приговорен к трем, Модзелевский -- к трем с половиной годам. Вскоре после их процесса дисциплинарная комиссия Варшавского университета провела чистку связанных с ними студентов.

Все эти репрессии вызывали новые протесты, против политики властей публично высказались виднейшие представители польской интеллигенции. Год 1966-й застал левую некатолическую интеллигенцию в решительной ссоре с властями. ... Официальная политика властей никому не позволяла лелеять надежды на честный компромисс.

\* \* \*

На переломе ноября-декабря 1965 г., когда заканчивался Ватиканский собор, польские епископы направили воззвание к немецким епископам, которое долго оставалось предметом многочисленных комментариев и споров. ...

"Христианский симбиоз Церкви и государства, -- читаем мы в "Воззвании", -- существовал в Польше с самого начала и никогда, собственно, не был разорван. Со временем это привело к по-



что всеобщему у поляков образу мыслей: что "польское" -- то и "католическое". Отсюда родился и польский религиозный стиль, где религиозный фактор тесно переплетен с фактором национальным, со всеми положительными и со всеми отрицательными его сторонами". Не часто случалось мне обнаруживать в церковных документах столь открытое признание изъянов, заключенных в понятии "поляк-католик".

Несколько дальше, говоря о связях средневековой Польши с Западом, епископы подчеркивают участие иноземцев в создании польской культуры. Они пишут о немецких купцах, архитекторах, художниках, "из которых многие полонизировались, сохранив свои немецкие фамилии". ... "Поляки глубоко уважали своих братьев с христианского Запада, которые прибывали к ним как послы истинной культуры. Поляки не обходили молчанием их непольского происхождения. Воистину нам есть за что благодарить западную, в том числе и немецкую, культуру". Такой образ нации и национальной культуры, свободный от шовинизма и ксенофобии, должен быть близок левой интеллигенции. Он совсем непохож на нередкую в католических кругах националистическую концепцию польского духа, свойственную национал-демократам. И не случайно епископы подчеркивали свободолобивые и толерантные традиции польской культуры, не случайно напоминали, что польским девизом было "За нашу и вашу свободу".

Присоединяясь к этой толерантной и свободолобивой линии польской истории, епископы отважились сделать из традиции злободневные выводы, а именно: взяли на себя труд отделить нацизм от немецкой нации. ...

"Мы хорошо знаем, какому нечеловеческому нацистскому давлению подвергалось большинство немецкого населения. Мы знаем, какие страшные внутренние муки пришлось испытать достойным, исполненным ответственности немецким епископам, -- достаточно вспомнить кардиналов Фаульгабера, фон Галена и Прейсинга. Мы знаем о мучениях "Белой Розы", о бойцах сопротивления 20 июля, мы знаем, что множество мирян и священников пожертвовало своей жизнью. ... Тысячи немцев, христиан и коммунистов, разделяли в концлагерях судьбу наших польских братьев... .

Вот именно поэтому – попытаемся забыть. Хватит полемики, хватит холодной войны, время начать диалог, к которому повсюду нынче устремляется Собор и Папа Павел VI. Если по обе стороны найдется добрая воля, ... то серьезный диалог может получиться и дать со временем добрые плоды”. ...

Непрекращающейся критике Церкви в средствах массовой информации сопутствовали административные репрессии. ...

Тон правительственной пропаганды и методы местной администрации напоминали преследования Церкви в эпоху культуркампфа. Poleмика соперничала с худшими образцами сталинской эпохи.

И в этой ситуации люди из кругов некатолической левой интеллигенции вели себя, в лучшем случае, пассивно. ...

Левая интеллигенция была склонна толковать борьбу Церкви как борьбу за конкретные привилегии для нее. Тем временем, для властей речь шла не о каких-то церковных привилегиях -- давным-давно ликвидированных, -- но о том, чтобы терроризировать общество, пропитать массовые умонастроения ксенофобией, сплотить народ вокруг шовинистских лозунгов, отождествить в массовом сознании христианские и гуманистические ценности, защищаемые в "Воззвании" епископов, с идеологией национального предательства. Все антитоталитарное с этих пор должно было неразлучно ассоциироваться с антинациональным. Одним словом, снова была поставлена задача тотально овладеть духовной и общественной жизнью поляков. Следующим этапом ее осуществления – на этот раз за счет некатолической интеллигенции -- были "мартовские события" 1968 года.

Здесь не место для подробной истории "мартовских событий" и погрома интеллигенции, проводившегося под флагом антисемитизма. Нас интересует общепринятое мнение о позиции епископата относительно этих событий. Согласно этому мнению, епископат счел тогдашние выступления интеллигенции и студенчества одним из внутренних споров между коммунистами, а антисемитский погром и антисемитскую демагогию – продолжением партийного сведения счетов. ...

(Но из документов епископата) следует, что епископы открыто выступили на стороне преследуемых людей и ценностей и против преследователей; что они взяли под защиту оппозици-

онную интеллигенцию и протестующее на митингах студенчество, что они осудили насилие и ложь. ... Максимальный возможный упрек — это некоторая их неконкретность, излишняя обобщенность, чрезмерная лаконичность. В других случаях ... польские епископы отваживались куда шире аргументировать, куда резче называть вещи своими именами. Но -- левые и некатолические критики позиции епископата в 1968 г.! — вспомним-ка о нашей собственной реакции за два года до того, во время антицерковной облавы, и сравним наше тогдашнее поведение с поведением епископов во время "мартовских событий". Может быть, это позволит нам увидеть истинные масштабы наших претензий. Прежде чем искать соломинку в чужом глазу, не забудем о бревне в нашем.

После всех этих критических замечаний и оговорок по адресу моему и моих идейных друзей следует, считаю, искренне высказать и критические замечания по адресу епископата. Скажу прямо: в выступлениях епископов не хватило, на мой взгляд, однозначного осуждения официально пропагандируемого антисемитизма. Думаю, что в тогдашней ситуации мало было одних намеков. Поймите меня правильно: я не думаю, что еврейский вопрос был тогда центральным и важнейшим. Он не мог быть таким в стране, практически лишенной еврейского населения. Разнузданная антисемитская кампания должна была не столько ударить по остаткам евреев, уцелевшим после гитлеровского ада, сколько разжечь национализм и ксенофобию, заслонить действительные причины социального кризиса, отучить поляков от рационального мышления и сделать их соучастниками преступления. Именно поэтому антисемитизм становился столь существенной проблемой.

Я пытаюсь понять истоки сдержанности Церкви. Во-первых, недоверие. Надо сказать, у епископов не было особых причин симпатизировать интеллигентам, которые не только до Октября выступали против Церкви и христианства, не только порядочный кусок жизни провели в рядах партии, но, к тому же, и непосредственно перед мартовскими событиями не скрывали своей неприязни к Церкви; не только не протестовали против направленных на Церковь репрессий, но и пописывали в журналах, специальностью которых был атеизм. Не было у епископов причин и для симпатий к разрекламированной в прессе группе студенче-

ства вокруг Куроня и Модзелевского, поскольку программный документ этой группы, так называемое "Открытое письмо к ПОРП", обладал всеми приметами антицерковного обскурантизма левых (ибо обскурантизм бывает как церковное, так и антицерковное!). И левые некатолические интеллигенты, и упомянутая группа студентов (т.н. командосы ) во многом были чужды и враждебны традиционной модели "поляка-католика": критическое, "издевательское" отношение к традиции; нелюбовь к восхвалению прошлого, доходящая иногда до преувеличений, до выставления всей польской истории в черном свете; пренебрежение, почти полное замалчивание роли католицизма в национальной культуре, непонимание функции Церкви в социальной жизни. Правда, это были второстепенные, менее существенные элементы в идеологии этих людей и группировок, но... никто из них ничего не сделал, чтобы церковным кругам стало известно их истинное, скорее антитоталитарное, нежели антирелигиозное лицо.

Допускаю, что действительно конфликт левой некатолической интеллигенции с режимом был в глазах епископов проявлением какой-то обострившейся внутрикommунистической интриги в борьбе за власть. В тех же категориях они, наверно, рассматривали и вводимый сверху антисемитизм, который давно уже использовался как орудие внутривластной борьбы. Если такова была оценка ситуации, то не приходится удивляться сдержанности епископата, не приходится удивляться, что епископы не хотели связывать интересы Церкви с темными интригами партийных мажорантов. ...

И все-таки, даже памятуя все это, я по-прежнему склонен считать, что эта умеренность была серьезной ошибкой епископата. Ибо, совершенно независимо от фракционных интриг, жертвами расистской демагогии оказывались живые люди -- и преследуемые, и те, кого втягивали в антисемитскую авантюру, нравственно калечили и превращали в преследователей. И тем, и другим было тогда крайне нужно выступление епископов против антисемитизма. ...

В 1968 г. вышло наружу все, что есть темного в польской традиции, и прозвучало громко и агрессивно. Оснащенное антиинтеллигентской и расистской демагогией, коммунистическое обскурантиство жестоко ударило по польским сторонникам демо-

кратического социализма. Ударяя по демократическому социализму, правящая Тьмутаракань топтала и уничтожала ценности, которые и христианству дороги: правду, свободу, солидарность. Это прекрасно поняли прогрессивные интеллигенты из христианских кругов и, пренебрегши застарелыми спорами, выступили резко, недвусмысленно и конкретно. Я имею ввиду позицию депутатов "Знака". Выступление Ежи Завейского и Станислава Стоммы в Сейме имели огромное нравственное и политическое значение. Еще больше значил бы голос епископата.

\* \* \*

Однако не следует забывать, что для партийного руководства высказывания епископов были столь же недвусмысленными. Согласно партийной оценке, именно епископы, и особенно кардинал Вышинский, были вдохновителями запроса депутатов "Знака".

16 марта 1968 г. радио "Свободная Европа" прочитало текст запроса депутатов "Знака" премьер-министру Юзефу Циранкевичу. Запрос был датирован 11-м марта.

"Глубоко взволнованные событиями 8 и 9 марта в Варшавском университете и в Варшавском политехническом институте, тревожась о спокойствии в нашей стране при сложном международном положении и о надлежащей атмосфере воспитания и образования молодежи, опираясь на ст. 22 Конституции ПНР и ст.ст. 70-71 Устава Сейма ПНР, мы спрашиваем: 1. Что намеревается сделать правительство, чтобы остановить жестокости милиции и отрядов ОРМО по отношению к студенчеству и установить ответственных за эти грубые действия? 2. Что собирается сделать правительство, чтобы по существу ответить молодежи на поднятые ею жгучие вопросы, которые волнуют также широкое общественное мнение, -- вопросы о демократических гражданских свободах и о культурной политике правительства?"

#### *Обоснование*

Выступления учащейся варшавской молодежи произошли вследствие явных ошибок правительственных органов в области культурной политики. Снятие "Дзядов" с репер-

туара было воспринято, в том числе молодежью, как болезненное, драматическое вмешательство, угрожающее свободе культурной жизни и оскорбительное для национальных традиций.

Мы считаем также, что в пятницу 8 марта можно было избежать происшествий в Варшавском университете. Во время митинга на территорию въехали автобусы с отрядами ОРМО, что неслыханно обострило положение.

В течение 8-9 марта демонстрантов жестоко избивали, нередко до того, что это угрожало жизни. Наблюдались случаи физического измывательства над молодежью, в том числе над женщинами.

Все это крайне возбудило общественность.

Мы обращаемся к гражданину премьер-министру с тем, чтобы правительство предприняло шаги, направленные на политическую разрядку положения. Это требует прекращения грубых действий милиции. Не следует зачислять во враги режима тех, кто, видя эти акты жестокости, протестует против них.

Ни молодежь, ни общество в целом не проявили в этих событиях враждебной позиции по отношению к социализму. Безответственные выкрики, которые имели место, были вызваны поведением отрядов ОРМО и не могут служить критерием для оценки позиции молодежи.

Мы выражаем также свое беспокойство появлением в прессе такого рода истолкований, какие способны только еще больше обострить положение. Подавление демонстраций — не выход, выход в том, чтобы не утратить возможности разговора с обществом. Мы призываем исходить из этого в принятии решений.

*Константын Лубенский, Тадеуш Мазовецкий, Станислав Стомма, Янош Заблоцкий, Ежи Завейский.* ”

Попытаемся подвести итог: что же значил запрос депутатов ”Знака”? В первую очередь, надо подчеркнуть моральный аспект. Демонстративный запрос ”Знака” был защитой людей преследуемых и нуждающихся в защите. Став на сторону избиваемых и оклеветанных, защищая их честь и чистоту их намерений,

депутаты "Знака" признали приоритет нравственных доводов над тактикой и политиканством: они не пытались ... -- "таскать каштаны из огня" в разгар политического бурления, но поставили на первое место фундаментальные нравственные ценности. Особое значение имела предпринятая Завейским защита нравственной и интеллектуальной аргументации преследуемых писателей. Я не имею в виду то, что он назвал Слонимского "выдающимся польским поэтом", хотя в тогдашней атмосфере это было актом отваги и солидарности. Я не говорю даже и о следующем фрагменте речи Завейского:

"Я знаю Киселевского и прекрасно знаю, что под маской злословия у него прячется отнюдь не цинизм, наоборот — это человек, глубоко озабоченный жизнью Народной Польши, честный, порядочный и отважный. ... Стефан Киселевский, употребив в ораторском пылу не самые изысканные формулировки (*речь шла о слове "туполобые"* — *Прим. автора*), выступил в защиту того, что, по его сведениям и совести, правильно и важно".

Повторим: в тогдашнем положении такая защита Киселевского требовала исключительной смелости и решимости.

Однако, на мой взгляд, наибольшее нравственное значение имела защита писателей, которые сколько-то лет назад поставили себя на службу соцреализму. В их защиту выступил писатель, который отказался принять программу литературной лакировки, хранил верность своему религиозному мировоззрению и заплатил за это годами молчания и нищеты. Своим выступлением Завейский показал общественному мнению, что людей, которые когда-то были сталинистами, а потом полностью порвали со сталинизмом, обвиняют в сталинизме те, кто никогда не переставал быть сталинистами.

Жест Завейского имел и свое политическое измерение. Благодаря ему, как и благодаря вообще запросу и дальнейшему поведению депутатов "Знака", была обесценена старательно разработанная тактика пропаганды, согласно которой вся "мартовская" оппозиция — сплошные евреи, космополиты и экс-сталинисты. Даже самая бесцеремонная и лживая пропаганда не могла отнести ни к одной из этих категорий Завейского или Стому. ... Запрос "Знака" открыл новый этап в новейшей истории

Польши. И следует помнить, что, по всеобщему мнению, львиной долей своего значения запрос был обязан позиции епископата и кардинала Вышинского. ...

За последние годы круги левой интеллигенции изменили свое отношение к Церкви. Интеллигенты-некатолики перестали бороться с Церковью, перестали быть пропагандистами официального атеизма. Многие из них публично выразили эту перемену. Антоний Слонимский, нравственный авторитет этого круга, ... ответил коротко: "До войны Церковь была реакционной, а коммунизм проповедовал прогрессивные идеи; теперь — наоборот".

О полной перемене отношения к Церкви и религии свидетельствуют и написанные в последние годы эссе Лешека Колаковско-го, которого левая интеллигенция молчаливо признала своим идеологом.

Кроме того, надо упомянуть, что принцип свободы религии был одним из требований и в письме 15-ти о положении поляков в СССР (декабрь 1974), и в письме 59-ти о проекте поправок к Конституции (декабрь 1975). Оба эти письма были подписаны людьми, связанными с кругом некатолической левой интеллигенции, но рядом с их подписями — знамение времени — стояли подписи католических священников. Я считаю это одной из важнейших перемен в польской духовной и интеллектуальной жизни. ...

Многие из моих знакомых, однако, скажут: сегодня Церковь за свободу совести и вероисповедания, за свободу печати и научных исследований, за свободу слова и собраний — пока она сама лишена этих свобод. Но так ли последовательно защищали их епископы в период господства католицизма, в междувоенной Польше? И будут ли они защищать их столь же последовательно, когда католицизм снова будет признан привилегированным вероисповеданием, когда алтарь снова окажется вблизи престола? На это я отвечаю: лишь слепой может не замечать перемен, происходящих в польском католицизме. Достаточно сравнить стиль и уровень довоенной католической печати с уровнем и содержанием "Тыгодника Повсехного", "Вензи" или "Знака", чтобы обнаружить всю грандиозность перемен. Достаточно внимательно перечитать пастырские послания епископата, чтобы найти в них элементы новые, пробуждающие надежду. Однако не это кажется мне самым существенным. И даже не то, что отноше-



ние Церкви к левым остается — и это банальная истина — в тесной зависимости от отношения левых к Церкви. Для меня важны фундаментальные вопросы. Сомнительной была бы наша любовь к гражданским свободам, если бы мы их требовали только для себя. Наша нравственность тогда была бы нравственностью Кали: "Как Кали украл — то и хорошо, а как у Кали украли — плохо". Поэтому наш — левых — политический долг состоит в том, чтобы защищать свободу Церкви и гражданские права христиан совершенно независимо от того, что думаем мы о роли Церкви 40 лет назад и о возможной ее роли через 40 лет. Права человека для всех — иначе их нет ни для кого. Это бесспорно.

\* \* \*

Но это не снимает поставленной проблемы. Одно дело — политический и гражданский долг левых, которые обязаны, иначе им грозит духовное саморазрушение, исповедовать идею неделимых и всеобщих прав человека; другое дело — их тревога по поводу линии поведения Церкви и ее иерархии. ...

Мужи католической Церкви вынуждены будут заявить, что должно быть в этом брэнном мире миссией Церкви — защита Церкви или защита человека? Стремится ли Церковь к подлинной свободе, охватывающей всех людей, в том числе иноверцев и неверующих, или же будет добиваться только, по выражению Ж.-М. Доменака, "свободы для себя, свободы своего культа, своих школ, своей печати"? Считает ли Церковь возможным выделить свободы для католиков из широкой сферы фундаментальных свобод для всех граждан? Далее: стремится ли Церковь — повторяю: в земном, человеческом мире — быть защитницей всех страдающих и преследуемых или же намерена постоянно расширять свои институционные права вплоть до возвращения привилегированного положения в государстве? Жаждет ли она исполнить свою апостольскую миссию в условиях разделения Церкви и государства или же хочет вместе с государственной властью править народом? Наконец: захочет ли она удочерить политические партии, созданные по религиозному признаку, или же, отделяя "Божье" от "кесарева", ограничится в политике такими общими указаниями, как те, например, что содержатся в энцикликах Павла VI?

... Я должен подчеркнуть, что для некатолических левых, а может быть, и для подлинно левых католиков, — это вопросы не теоретические, но как нельзя более конкретные. Настолько, насколько может быть конкретен образ Польши, за который мы боремся. ...

\* \* \*

По правде говоря, на меня мало действуют доводы такого рода: католикам положены свободы (религиозные, культурные, политические), поскольку они составляют большинство в польском обществе. А если бы они были меньшинством? Что, тогда им полагалось бы меньше, хоть чуточку, но меньше гражданских прав? Где же тогда истоки католических притязаний: в количестве сторонников или в принципе неотъемлемых человеческих прав? Права и свободы католиков, думаю я, абсолютно не должны зависеть от числа особ, принадлежащих к римско-католическому вероисповеданию; так или иначе, католикам надлежит та же полнота прав, что и другим гражданам, будь они протестанты, магометане или атеисты. С точки зрения государственного права, вероисповедание должно быть частным делом.

Именно так я понимаю принцип секуляризации: полное отделение Церкви от государства, полное отделение государства от Церкви, полнота гражданских прав. Совсем иначе определяет этот принцип кардинал Вышинский, который называет секуляризацией "чистку верующих граждан и религиозных, католических элементов":

"Это течение выросло на склоне XVIII века и одержало верх к концу XIX-го. Оно стремилось с помощью государственной власти создать светскую школу и мораль и секуляризовать все государственные, общественные и политические механизмы. Термины его заимствованы из французских авторов. ... Выражения *école laïque*, *morale laïque* пошли со времени, когда масонство и политико-экономический либерализм, не считаясь ни с какими нравственными принципами, укрепляли такие стремления прежде всего во Франции. Так что если сегодня столько говорится, читается и пишется о секулярном государстве, то это разогрев старых, прокисших блюд, которых современный человек и не проглотит. Это понятия устарелые. Государственная

власть не имеет такого права, чтобы силой, с помощью социальных и общественных механизмов, пропагандировать так называемую светскую нравственность или светскую ритуальность, особенно в насквозь католическом обществе”.

Может быть, дело всего лишь в терминологическом недоразумении. Если секуляризацией называть цензурирование и калечение национальной культуры путем ликвидации ее религиозных традиций, если секуляризацией называть государственное насилие в уничтожении католических обычаев и насаждении новых, — трудно не согласиться с кардиналом Вышинским. Такая ”секуляризация” — всего лишь еще одна маска тоталитарного насилия. Однако слова кардинала Вышинского можно понять как критику самого принципа разделения Церкви и государства. Страшное смещение понятий в нашем языке, все больше становится слов, благодаря официальной пропаганде, которые не облегчают взаимопонимания, но затрудняют его. ...

ПНР — не демократическое и светское государство, но подчиненное определенной идее государство тоталитарное. Непременным условием превращения его в светское или секуляризации (я употребляю эти термины наравне), является ликвидация тоталитарной политической структуры. Секуляризованным государством тогда будет, по определению Доменака, такое государство, где христианин не должен будет ”совершать ужасающий выбор между Богом и кесарем”. В замысел светского государства входит, чтобы ”тот, кто выбрал Бога, ... не был замучен идолопоклонником-кесарем” и никто другой ”не был поработан кесарем якобы христианским”.

Такая постановка проблемы противоречит долгой традиции представлений о Церкви и государстве. Доменак полностью принимает ситуацию, в которой ”государство выходит из рамок Церкви, что и есть секулярность”, как об этом пишет о. Жак Лекрек, профессор католического университета в Лувене:

”В течение всего XIX века большинство католиков жило с мыслью о христианском государстве и с жадной возвратить прежние отношения. Такие люди встречаются еще и сегодня. Как только засветит какая-то надежда в этом

направлении, они с энтузиазмом хватаются за нее. Тень этого падает на все дискуссии”.

В апреле 1962 г. — здесь это уместно напомнить — польские епископы писали:

”Средствами богатыми мы не располагаем, силой материальной не обладаем, и за это последнее Бога благодарим, ибо мы свободны даже от искушения силу эту использовать”.

В августе 1963 г. — ... епископы заявили:

”Мы достаточно наслушались упреков, что в прежних поколениях иерархия и духовенство поддерживали бранные престолы и купались в их сиянии. Быть может, и такое бывало. Тем более, делая вывод из этого прошлого опыта, мы должны держаться как можно дальше от престолов и от сильных мира сего”.

В помеченном 22 марта 1968 г. документе о секуляризации можно прочесть:

”Мы сознаем, что в современных обществах люди с разными мировоззрениями будут жить рядом друг с другом. ...Церковь часто обвиняют в том, что она не хочет признать существования современного мировоззренчески дифференцированного общества. Это не соответствует истине. Истина же в том, что мы не можем согласиться с использованием власти управления в государстве для того, чтобы навязывать гражданам материалистическое мировоззрение. Церковь не отягощает светские власти заботой о Царствии Небесном; Церковь не жаждет привилегированного положения — она добивается только справедливо надлежащих ей прав, добивается настоящей свободы продолжать дело Иисуса Христа. ...

Ныне становится все более и более общепризнанным, что современное государство не должно предоставлять никаких привилегий ни одной системе философии, идеологии, культурным или художественным направлениям. Когда же, как это имеет место в случае навязанной секуляризации, государственные власти включаются в борьбу на сто-

роне материалистического мировоззрения, используя для его распространения административный аппарат и государственные механизмы, тогда мы вынуждены сказать: мы -- против. Благо общества и принципы всеобщей справедливости требуют, чтобы люди с разными мировоззрениями сосуществовали друг с другом, пользуясь равными правами во всех сферах, без применения светскими властями дискриминации и административного нажима на верующих”...

Если можно рассматривать эти заявления как доказательство отказа Церкви от стремления приобрести, в какой бы то ни было форме, материальную силу в будущем, то они идут навстречу глубочайшим пожеланиям некаатолических левых и освобождают их от многих тревог. Тогда я охотно соглашусь, что, противопоставляя рассуждения Доменака цитированному высказыванию кардинала Вышинского, я веду бой с ветряными мельницами. Я хотел бы, чтобы так и было. Но это не освобождает от других сомнений, порождаемых приведенным отрывком. ...

Чего я не понимаю, это аргумента, что какие-то идеи ”заимствованы” из Франции. Думаю, что изоляция и враждебность к чужеземным идеям по причине их чужеземности — это та традиция нашей духовной жизни, которую, действительно, не стоило бы продолжать. Отсюда уже остается только шаг до излюбленных тоталитарными диктатурами обвинений в космополитизме. Не обошлись без таковых и христиане, хотя, следует заметить, христианская религия по происхождению не польская и не славянская и тоже в наших землях откуда-то ”заимствована”.

Несправедливо односторонней мне кажется оценка либерализма. Действительно, либеральные идеи в XIX веке оказались в остром конфликте с Церковью, но трудно свести их к этому и сделать из этого конфликта единственную точку зрения. Антиклерикализм либералов в те времена по праву определял отношение к ним Церкви -- в эпоху тоталитарных диктатур это перестало быть самым главным. Важнее, по-моему, то, что именно либералы сформулировали на внецерковном языке принципы свободы совести и вероисповедания, прав человека, идей терпимости и парламентарной системы. ...

Либеральные идеи, если подойти к ним доктринально, для Церкви неприемлемы. Но такой подход не единственно возмож-

ный. Доктринально Церковь не признает и других вероисповеданий, однако вступает с ними в диалог. Напомним: принцип человеческой свободы, согласно классику либерализма Дж. С. Миллю, основан на свободе совести и вероисповедания, свободе мысли и чувства, абсолютной свободе мнения и суждения во всех практических или философских, научных, моральных или теологических сферах. От этого неотделима практическая свобода выразить и делать публичными свои убеждения. Милль писал:

”Этот принцип требует свободы вкусов и занятий: выработки плана нашей жизни в соответствии с нашим характером; ... свободы объединения личностей в любых целях, не наносящих вреда другим. ... Ни одно общество, в котором эти свободы ... не соблюдаются, не свободно, вне зависимости от формы его правления; и ни одно общество не свободно полностью, если эти свободы не признаны без всяких оговорок. ...

Придерживаться строгих правил справедливости, учитывая существование других людей, — это развивает чувство и способность поставить целью благо других. Но когда мы ограничиваем человека в вещах, которые никого другого не затрагивают, — просто потому, что они кому-то не нравятся, — мы не развиваем ничего ценного, кроме силы характера, вырабатываемой в сопротивлении этим ограничениям. Если же человек на них соглашается, он притупляет и обедняет всю свою природу. Желая дать равные шансы природе каждого, надо позволить разным людям вести различный образ жизни. Чем шире была эта свобода в каком-либо столетии, тем более это столетие заслуживало внимания потомков. Даже деспотизм не дает нам ощутить своих наихудших последствий, пока индивидуальность сохраняется под его правлением; а система, которая подавляет индивидуальность, — всегда деспотизм, вне зависимости от того, как она себя выражает и что она выдает за свою цель: исполнение Божьей воли или человеческих приказов” ...

Не случайно в языке коммунистической пропаганды упрек в ”либерализме” принадлежит к самым тяжким. Вожди Пере-

дового Строя прекрасно понимают — часто лучше, чем мужи Церкви, — что идеи духовных наследников Милля острием своим нацелены против их тоталитарной власти, ломающей характеры и разрушающей совесть, а не против христианской религии и Церкви. Идея светского государства перестала быть антицерковной и стала антитоталитарной. Открытый конфликт либеральной интеллигенции с Церковью стал — надо надеяться, навсегда — завершённым эпизодом истории Европы. Идеи Церкви, идеи соборной конституции „Gaudium et spes” и папских энциклик Иоанна XXIII и Павла VI ни в чем не угрожают людям, исповедующим либеральную концепцию прав человека. Наоборот: в принципиальных проблемах земного устройства, а особенно по вопросу отношения к принципу неотъемлемости прав человеческой личности, стремления христиан и духовных учеников Милля тождественны.

Кто — теперь и здесь, в Польше, — во имя защиты свободы человека борется с католической Церковью, тот либо невежда, либо не либерал. Так может поступать либо тупица, либо вооруженный либеральной фразеологией рыцарь тоталитарно-атеистического ретроградства. Ибо либерал — всегда на стороне защитников прав человека.

В этом контексте мимолетно упомяну еще о масонах. Их тоже кардинал Вышинский, пожалуй, незаслуженно обидел в своей проповеди. Его высказывание отягощено очень старым и крайне несправедливым стереотипом. ...

Вольные каменщики были либералами, они стремились к демократическому и светскому государству, что вызывало враждебное к ним отношение церковной иерархии. Однако повторим: отношение к Церкви не должно быть единственным критерием оценки какого бы то ни было идейного движения — даже для епископов. Тем более, что с Церковью было о чем поспорить. Случаи ”поддержки престолов” Церковью, по выражению польских епископов, происходили неоднократно. Осуждаемые Церковью вольные каменщики вписали прекрасные страницы в польскую историю, создавая культурные ценности и непреклонно защищая права человека и гражданина. Поэтому они заслуживают и уважения, и объективного суждения. Зато проводимая коммунистической властью под лозунгом ”секуляризации” акция уничтожения национальной культуры и обычаев не

имеет ничего общего с масонскими традициями. Фартуки, ма-стерки и циркули вольных каменщиков не вводились насиле-ем. Масонские порядки обязывали только тех, кто их сознатель-но выбирал.

Не ради демонстрации исторической эрудиции ввязываюсь я в этот спор. И не потому, что масоны сегодня нуждаются в защите, ибо вот уже лет сорок, как ложи вольных каменщиков в Польше перестали существовать. Зато в нашей стране существу-ет нечто куда более вредное, чем все масонские ложи мира, — миф масонского всемогущества. ...

А в ситуации, когда масонов нет, каждый может оказаться масоном по назначению прессы — как в 1968 г. каждый мог быть зачислен в евреи. Миф "всемогущего масонства" может оказаться весьма удобным для коммунистической верхушки: он позволяет сослаться на таинственную мафию, ответственную за очередные "временные трудности" или экономический кризис. Это опасный миф: он культивирует бездумность, укрепляет об-скурантство. В кризисных ситуациях его опасность повышается: с его помощью можно — наподобие антисемитизма — разжи-гать антиинтеллигентские страсти, способствовать поискам "коз-лов отпущения", облегчать тоталитарную демагогию. Атаки Цер-кви на "либералов и масонов" — прибавлю в заключение и это — традиция недобрая, для неверующих левых они ассоци-ируются с атаками на самые дорогие для них ценности: на сво-боду, на терпимость, на права человека. В них звучит эхо про-шлого, полного конфликтов и травм.

Названные ценности левых выросли — и это общеизвестно — из традиции христианской. Эти ценности ныне провозглашаются и защищаются Церковью, что нашло выражение в решениях Со-боров, в пастырских посланиях польских епископов, в той иног-да одинокой, но всегда непреклонной защите свобод, терпимо-сти и прав человека, которую ведет Примас Польши. Но слиш-ком долгое время не католические левые и Церковь понимали эти ценности и их защиту по-разному. В глазах левых эти цен-ности нуждались в защите от Церкви, ибо идеи прав человека и стремления Церкви оказывались на разных берегах. Результа-том этого было расщепление национальной культуры: поляк-ра-дикал, оснащенный идеей прав человека и светской моралью, и поляк-католик, сознающий свой долг перед Богом и отечеством,



шли каждый своим путем. Доходило до драматических конфликтов. ... Только коммунистический тоталитаризм и сознание того, что под угрозой оказались общие ценности, — только это сблизило левых с Церковью и христианством. Ибо оказалось — вопреки прежней уверенности обеих сторон, — что ценности, действительно, общие. И никто из мужей Церкви не станет сейчас утверждать, что левые этих ценностей не защищают. Во имя их защиты многие духовные дети "либералов и масонов" подписали вместе со священниками письма о проекте поправок к Конституции, которые в принципиальных требованиях, заметим, совпадали с выступлением по этому поводу епископата. Это совпадение было показательным проявлением того, что встреча состоялась. Одновременно Церковь сделала благородный и дальнорзоркий жест: епископат взял под защиту тех, кто подвергся репрессиям за подписи под этими письмами. ...

Путь к этой встрече был сложным. ... Разрядка застарелых конфликтов и травм пойдет не быстро. Однако если встреча неверующих левых с христианством должна быть подлинной, то единственной целью споров о прошлом могут быть поиски правды. Лишь бы так было. Для одних это "временное перемирие", или тактическое соглашение. Для других, в том числе для пишущего эти слова, встреча левых с Церковью, с христианством — это, прежде всего, огромная удача для польской культуры. Она создает надежду ... на то, что исчезнет жестокое деление на два лагеря: католический и некатолический, — уступив место плюралистическому единству нашей культуры. От этого выиграют все. Католики останутся католиками, неверующие — неверующими, но гнетущий климат гетто хотя бы частично, да исчезнет.

Вот почему левых беспокоят нападки Церкви на масонство.

На все эти рассуждения можно ответить, что это утопическая греза. Но чем же, как говорит Слонимский, была бы наша жизнь без грез? ...

Стоящие у власти коммунисты осуществляют долгосрочную программу культурной политики — по существу, план советизации, то есть опустошения и тоталитарного подчинения польской культуры. Если им удастся воплотить этот план в жизнь, поляки превратятся в людей со сломанным хребтом, поработанным умом, распавшейся совестью. Они перестанут быть нацией, станут скопищем людей, говорящим на польском варианте совет-

ского языка рабов. Существо явления, которое я вслед за Коларковским называю *советизацией*, основано на стремлении так сформировать польские умонастроения, чтобы всякая мысль об изменении существующего положения дел казалась иррациональным абсурдом. Это самая опасная форма диктатуры, ибо она основана не только и не столько на лишении человека физической свободы, сколько на уничтожении его свободы духовной. Советский раб чувствует себя свободным и горд своей "свободой".

В классической системе советского типа культура — это не источник конфликтов, порождающий новые идеи, вдохновляющий критическую мысль, активизирующий стремления людей к свободе и подлинности, но опасный — опаснее открытого террора — инструмент в руках диктаторской власти. Путем организованной лжи, с помощью средств массовой информации, превращенных в средства массового уничтожения человеческого ума и совести, советского типа "культура" стирает различия между оценкой и описанием, действительностью и ее пропагандистским изображением, притупляет общественную чувствительность, губит умение самостоятельно мыслить. Советизация — это ликвидация грамотности, ибо свобода печати имеет значение только там, где люди умеют читать, а о свободе выражать убеждения имеет смысл говорить только тогда, когда человек в состоянии иметь и сформулировать собственное мнение. Советизированный человек лишен этого умения, он не будет бороться за свободу, ибо она ему ни на что не нужна. Советизированный человек не сумеет даже объяснить как следует, что по-настоящему значит это странное слово, ибо он — бессознательный пленник советского языка.

Советизация языка — существенный этап советизации культуры. Слова теряют первоначальный смысл. "Свободой" называют несвободу, "правдой" — ложь, "процветанием" — нищету. Орвелл назвал этот язык "новоречь". Советская "новоречь" взнуздывает граждан эффективней, чем террор. С помощью "новоречи" воспитание превращается в дрессировку, а социальная критика перестает быть возможной: из языка исчезают категории, позволяющие анализировать и оценивать социальную действительность путем соотнесения с "внешней", "вне" или "сверхсистемной" структурой. Исчезают слова. Исчезает слово

”плюрализм” — в советском мире господствует ”единство мыслей и действий”; исчезает слово ”диалог” — вся правота на одной стороне; исчезает слово ”Бог” — честь воздают только кесарю.

Прогрессирующей советизации сопротивляются все люди доброй воли, все, для кого такие слова, как *правда, солидарность, свобода и родина*, не превратились в пустозвонную демагогию. Последовательнее всех сопротивляется Церковь. Направленность и программа этого сопротивления — сегодня дело первостепенной важности, ибо Церковь оказалась на развилке дорог. Церковные деятели должны решить, ... является ли их целью заменить официально провозглашаемую тоталитарную и интегральную концепцию ”социалистической” культуры столь же интегральной доктриной ”католической культуры” или же они просто хотят создания условий для свободного развития всей национальной культуры. Чего конкретно они хотят: защитить уничтожаемую культуру и ее плюрализм или же только освободить место для того, что называется католической культурой? ...

Католицизм как религия может вдохновлять и вдохновляет различных творцов культуры. Но культура есть единство. Нет культуры католической, протестантской, культуры неверующих — есть лишь польская культура. Именно такую, плюралистическую, но понимаемую как единство, мы и должны защищать.

И мы, не католические левые, должны защищать ее вне зависимости от линии поведения, которую выберет Церковь. Скажем себе четко и ясно: конфискацию всякой книги, в том числе и религиозной, мы должны рассматривать как конфискацию своей собственной книги; всякую политическую репрессию — как репрессию, ударившую прямо по нам; всякого преследуемого защищать как самого близкого друга. Только тогда мы сохраним верность своим идеям. Все прочее — от лукавого.

\* \* \*

Процесс советизации идет по двум колеям, происходит, так сказать, на двух фронтах и имеет двойные последствия. Первая колея советизации — попытка *уничтожить традиции*, выполоть из коллективной памяти все, что известно ей о сложном

прошлом нашей страны, о культуре ее, о ее неуловимых и неотъемлемых свойствах. ...

Политика уничтожения традиций приводит к тому, что не переиздаются фундаментальные исторические труды прошлого и начала нашего века. Целые исторические пространства остаются белым пятном. ... Полный запрет наложен на всю историю католической Церкви XIX века, а трагедия униатов стала более запретной темой, чем была в царской империи.

В результате такой политики ... историческое сознание большинства начинает напоминать бесформенное глиняное месиво.

Другая колея советизации — стремление сформировать из этого глиняного месива новый, фальсифицированный образ действительности в людских умах, попытка сконструировать новый советизированный образ прошлого и настоящего нашего народа. Таким смыслом наполнено постоянное вплетанье в кастрированную и изуродованную культурную традицию совершенно новых нитей. Все, что случилось в прошлом и так или иначе может пригодиться новой власти, инкорпорируется ею и вписывается в новый идеологический контекст: от битвы под Грюнвальдом до Феликса Дзержинского. Все события и биографии изменены до неузнаваемости, все отпрепарированы и отретушированы. Все исторические персонажи оказываются в равной степени предтечами идеалов коммунистической власти, всем им по ночам снилась тоталитарная модель социального устройства.

Так возникает новый канон польской истории. Лживый, но общеобязательный, строго охраняемый цензурой, разносимый пропагандой в массы... Государство должно обладать монополией на истолкование исторического значения конституции 3 мая, романов Жеромского и "Свадьбы" Выспянского. Государство должно обладать монополией на канон, страшный канон советизированной культуры. И вот с одной стороны — грязная кашлица случайных сведений, глиняное месиво разрушенной традиции, с другой — вылепленные из этого месива и кашлицы идола новых мифов и культов, основанных на лжи. Христианин сказал бы: изгоняют из алтаря Бога, чтобы воздвигнуть там кесаря. Вот к чему ведет советизация.

Защитит от этого подлинность. Когда власть стремится монополизировать всю культуру — всякий подлинный жест, всякая подлинная эмоция, всякое в подлинности рожденное произведение науки или искусства — антитоталитарны. ...

Польская культура давно сопротивлялась разрушительному действию советизации. Сопротивление продолжается в обоих направлениях: как защита подлинной традиции от разрушения и подмены и как резкая полемика с вылепленным по советскому образцу идолом нового канона. ...

Оба течения нужны, оба позволяют подлинной польской культуре выжить — это два пути к пониманию народом правды о себе самом. Оба необходимы и народу и друг другу. Продолжатели не позволяют национальному сознанию стать развеянным песком или советским месивом. Однако без постоянной критики, бдительного сомнения это течение подвергается опасности стать провинциальным, косным, некритичным и интеллектуально обмельеть. Ниспровергатели, в свою очередь, выявляя абсурд языка пропаганды и официальных стереотипов, разоблачая газетную действительность и издеваясь над глиняными идолами по-советски препарированной традиции, не позволяют традиции окостенеть в массовом сознании. Но, сведя сопротивление советизации к одному ниспровергательству, т.е. только к антитезе, можно прийти — скажем открыто и это — к полному релятивизму, к неверию в любые этические нормы или в активно-патриотическую позицию. Так что правильно было написано кем-то: "Гармония возможна лишь в разнообразии — один тон аккорда не даст". ...

Не мне давать советы, какую позицию должна занять Церковь по отношению к секуляризации и к неверующим кругам, но я чувствую себя вправе высказать предположение, что для этих кругов только тогда Церковь станет авторитетом, когда она поднимет подлинные проблемы, волнующие их, когда она заменит позицию враждебной самозащиты позицией доброжелательного диалога. ...

Вот и произнесено слово "диалог". ... Слово многозначное, им нередко злоупотребляют, его по-разному толкуют; идея, которую объяснить просто, а по-настоящему реализовать -- трудно. ...

Этот диалог -- подчеркнем -- нечто совсем иное, нежели разговоры редакции "Аргументов" с редакцией "Вензи". На интеллектуальном уровне речь идет скорее о том типе диалога с христианством, который представлен в эссе Колаковского о Христе.

Этот диалог вдохновлен совершенно иными принципами, чем встречи западноевропейских христиан с представителями итальянской или французской коммунистической партии. Наш путь к диалогу прокладывали не те, что совместно возмущались ужасами капиталистической системы и мелкобуржуазного парламентаризма, а за критерий прогресса принимали положительное отношение к СССР и странам "народной демократии". Было бы совершенным недоразумением относиться к нашему диалогу как к своеобразному польскому варианту концепций типа Paulus Gesellschaft. Западноевропейские католические сторонники прогресса и социализма, к сожалению, не понимают, что такое быть прогрессивным католиком, будучи поляком, русским или, не дай Боже, литовцем. Пока я не увижу, что это стало им ясно, я буду вынужден считать слишком мало пригодными для Восточной Европы размышления иностранных "прогрессивных католиков"...

Я не могу доверять людям, которые видят эксплуатацию, угнетение и несправедливость только на строго определенных географических широтах, долго рассуждают об исторических злоупотреблениях христианства и католической Церкви и в то же время обходят молчанием либо эвфемизмами политическую практику коммунистов в СССР. Пока они не начнут явно и недвусмысленно бороться с советским тоталитаризмом, я буду подозревать, что они следуют максиме Монталамбера: "Когда я слабее, я требую от вас свободы, потому что это ваш принцип, но, когда я сильнее, я отнимаю свободу у вас, ибо это мой принцип." ...

Будучи социалистом, я противник капитализма. Но, будучи социалистом, я считаю величайшим кошмаром нашего времени, величайшим врагом прогресса, демократии и социализма не капиталистическую систему, но тоталитарные режимы. Все: капиталистические и коммунистические ... страны, где топчут элементарные человеческие права, где во имя высших идеалов -- религиозных или мирских -- людей уничтожают и оскорбляют.

Когда я говорю о "диалоге" с христианством, я не имею в виду интеллектуального фехтования или тактических игр в борьбе за власть -- для меня речь идет об азбуке человеческих ценностей. Ибо генезис польского диалога левых с христианством -- это встреча в антитоталитарном сопротивлении.

У этой встречи три уровня: встреча с Богом, встреча с Церковью как институтом, встреча с христианской системой ценностей. С католической точки зрения, несомненно, самая существенная, нередко ведущая к прямому обращению, -- это встреча многих вчерашних атеистов с Богом. Разговор это трудный, глубоко личный, интимный. Я не чувствую в себе сил об этом писать, не сумею этого истолковать. Однако совершенно ничего не сказать об этом значило бы обеднить и фальсифицировать проблематику, о которой идет речь. ...

Явление, о котором я пишу, -- это не род тактики и не попытка подчинить религию и Церковь определенным политическим целям. ... В этот момент я говорю о тех, кто ищет в трансценденности внутренний нравственный порядок. О тех, для кого встреча с Богом заново определила смысл жизни. ...

Именно эта сторона новых отношений для христиан важнее всего, для неверующих -- труднее всего. Легче признать видимую Церковь, чем целые сферы невидимых и непонятных явлений. Однако, не признав их, не придешь к истинному плюрализму. Без этого христианин будет видеть в неверующем калекку или циника, а неверующий в христианине шарлатана или юродивого. ... И мы обедним нашу духовную жизнь за счет всего, что могло бы быть плодом идейной конфронтации людей, мыслящих по-разному, устремленных разными путями, но к сходным целям: гуманизму и правде.

\* \* \*

Другая сторона новых отношений -- исторические перипетии встречи левых с Церковью как институтом. ... Рассматривая проблему, чего ожидают или чего должны ожидать левые от католической Церкви, прежде всего надо определить, чего они не должны ожидать.

Переориентацию по отношению к Церкви и отказ от политического атеизма не следует путать с позицией полного отступничества. Неверующий левый -- вовсе не ренегат, который отбросил все вчерашние ценности. Такой ренегат -- а их немало в интеллигентских кругах -- кидается из одной крайности в другую, проклиная все левое и принимает классические схемы консервативного мышления. Вчера еще член ПОРП, сегодня глашатай хвалы средневековью, в ненависти к коммунизму он до-

ходит до признания крепостного права, заменяет ... ”вчерашнюю глупость глупостью позавчерашней”. Он куда более католик, чем Папа Римский или Примас Польши. Вместе с тем он явно проявляет свое нежелание участвовать в публичных выступлениях в защиту гражданских прав и старательно избегает таких выступлений.

Я не подвергаю сомнению личную честность некоторых представителей этой тенденции, но я сам представляю тенденцию иную. В навязчивом антикоммунизме и филокатолицизме вчерашних членов партии я усматриваю многочисленные опасности. Я думаю, что их антикоммунизм не тождествен антисталинизму, — это скорее маска для концепций, враждебных демократическим принципам коллективной жизни и равенству граждан, концепций, отстаивающих консервативный патернализм в общественной жизни. Такая интеллектуальная конструкция в высшей степени облегчает соединение повседневно конформизма с патриотической фразеологией. В рамках ее католическая Церковь — единственная опора, которая защищает народ от советизации, народ же должен свести свое сопротивление до участия в отправлении культа. Тут, думаю, есть и опасность свести религию к ее внерелигиозным функциям, и опасность снять с себя самих ответственность за судьбу своего народа. Ибо миссия Церкви не может заменить политическую и гражданскую активность общества, стремление же к этому указывает на абсолютно утилитарное отношение к религии и Церкви. ...

Нынешний поворот не должен означать, что мы начнем рассматривать Церковь как политического союзника. Церковь -- не политическая партия, и всякие расчеты на то, чтобы она выступала в роли партии, столь же нереалистичны, сколь вредны -- независимо от того, была бы это партия про- или антиправительственная, правая или левая, консервативная или революционная. Задача Церкви -- гласить евангельское учение, а из него невозможно без натяжек вывести однозначную политическую программу. Противоположная точка зрения может привести к злоупотреблению религиозными институтами и самой религией. Евангельское учение -- нечто иное, нечто сразу большее и меньшее, чем политическая идеология, не правое и не левое. В правых идеологиях существуют определенные направления, ко-



торые ссылаются на это учение и хотят быть верными его принципам. Такие же тенденции существуют и в лагере левых. Евангельские принципы бывали написаны на знаменах правых и левых, их топтали правые и левые правительства. Евангелие не является чьей-то собственностью. Для христиан это слово Откровения, для неверующих оно должно быть кодексом нерушимых нравственных принципов. Таким образом, если неверующие левые будут верны евангельскому учению, Евангелие будет на их стороне. В этом смысле можно говорить о принципиальном единстве фундаментальных человеческих ценностей между Церковью и неверующими левыми, но это единство, во всяком случае, не тождественно политическому союзу, и можно только пожалеть, если кто-то так его понимает. Это привело бы к отождествлению религии с политикой, к подчинению вневременных функций католической Церкви злободневным планам и политическим интересам лагеря левых. Из истории известно, что из этого никогда не выходило ничего хорошего ни для религии, ни для политики. ...

Так чего же неверующие левые должны ожидать от Церкви? Прежде всего, они сами должны признать ее специфическую, лежащую вне политики и вне брэнного мира, апостольскую миссию. Это не призыв обратиться в христианство — это призыв признать реальность. До тех пор, пока левые будут считать апостольскую миссию Церкви шарлатанством, они не встретят понимания у мужей Церкви. Но до тех пор, пока Церковь будет судить людей только на основе их участия в отправлении культа, она будет встречать в левых принципиального противника. Это неизбежно. Чтобы избежать этого, обе стороны должны признать плюрализм постоянным составным элементом польской действительности. Левые должны наконец понять, что религия и Церковь — не пережитки, не преходящие и угасающие явления, но неотделимая часть социальной, нравственной и интеллектуальной действительности поляков. ...

Неверующие левые находятся в Польше в исключительно трудном положении. Они должны защищать свои социалистические идеалы от манипулирующей социалистическими демагогическими фразами антинародной тоталитарной власти. Тем не менее, именно потому этой защите следовало бы стать твердой, последовательной и бескомпромиссной, свободной от сектант-

ства, от фанатизма, от устарелых схем. Левая мысль должна быть открыта всем идеям независимости и антитоталитаризма — следовательно, христианству и всему богатству христианской религии. Некатолические левые должны жаждать братства со всеми людьми доброй воли и братства с христианами не вопреки их вере, но благодаря ей; их желанием должно стать, чтобы каждый преследуемый христианин видел именно в них, исповедующих внерелигиозный гуманизм, самых близких и самых честных друзей. Только тогда они будут достойны своих великодушных предшественников начала нашего века, только тогда они сохранят верность своим принципам, только тогда в Польше возродится подлинная социалистическая мысль. Социализм, который я понимаю как интеллектуально-нравственное движение, может возродиться в Польше не в результате темных союзов и двусмысленных компромиссов с внутрипартийными группировками, но в бескомпромиссной борьбе за свободу и достоинство человека, в старательном и честном пересмотре собственного пути. ...

Для нас, для неверующих левых, встреча с христианством вокруг таких ценностей, как свобода, терпимость, справедливость, достоинство человеческой личности и стремление к правде, — это одновременно перспектива неконъюнктурной встречи, идейного единства на новом уровне, возможности заново сформулировать основы борьбы за демократический социализм. Польский опыт в этой области, польское умение сосуществования во взаимоуважении, солидарности и единстве левых, свободных от тупого атеизма, с христианами, свободными от религиозной нетерпимости, может быть полезным и для других левых антитоталитарных движений в других странах и в других частях света.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *"Кузница"* – литературно-общественный еженедельник, издавался в 1945-1950 гг. Основатель и до 1948 г. – главный редактор – С. Жулкевский.

<sup>2</sup> *ВРН* ("Вольность – Рувность – Неподлеглость" – "Свобода – Равенство – Независимость") – название, принятое ППС под немецкой оккупацией. ВРН участвовала в деятельности организаций подпольного Польского государства, была в числе четырех "исторических" партий – членов Комитета полит. координации. В период между июлем 1946 и июнем 1947 прошли массовые аресты членов ВРН, в 1948-1949 – их процессы. Их обвиняли в организации конспиративной партии и деятельности, направленной на насильственное свержение государственного строя ПНР.

<sup>3</sup> *"По Просту"* – журнал, основанный в 1947 и до 1955 остававшийся никому неизвестным малотиражным студенческим изданием. В 1955-1957 гг. стал главной трибуной духа "оттепели" и "ревизионизма". Был известен своими постоянными конкретными репортажами о жизни в стране. Закрытие "По Просту" в 1957 году было переломным моментом в переходе гомулковского руководства от либерализации к "нормализации".

<sup>4</sup> *Завейский Ежи* (1902-1969) – прозаик, общественный деятель. До войны актер, театральный инструктор польской иммиграции во Франции, сотрудник Варшавского института народных театров. Во время оккупации участник культурного подполья. После войны католический деятель, с 1957 депутат Сейма, в 1957-1968 член Государственного совета. Член редакций "Знака" и "Тыгодника Повшехного". В результате травли, устроенной ему после выступления в Сейме пяти депутатов "Знака" (1968), попал в психиатрическую больницу, где покончил с собой.

<sup>5</sup> *"Знак"* – ежемесячный краковский журнал (основан в 1945), а также группа католических общественных деятелей, писателей и публицистов вокруг него и "Тыгодника Повшехного". После Соглашения между правительством и епископатам 1950 "знаковцы" публично констатировали, что католический лагерь в Польше стоит перед выбором: либо включиться в монолитное политическое движение за построение социалистического общества, либо направить свою активность в такую сферу творческой деятельности, где не приходится брать на себя ответственность за политические решения правящего лагеря, – и выбрали этот второй путь, подчеркивая, что социалистический идеал, имеющий свои положительные стороны, тем не менее, не является их идеалом. "Дискуссия"

прорежимного ПАКСа со "Знаком" кончилась ликвидацией "Тыгодника Повсехного" как органа Краковской курии и передачей его (1953-1955) в руки ПАКСа. Журнал "Знак" был ликвидирован тогда же, в марте 1953 г.

После "Польского Октября" был создан Общепольский клуб прогрессивной католической интеллигенции (23 октября 1956), возобновлены оба журнала и была достигнута договоренность о пяти местах в Сейме для представителей нового движения. Депутатская группа получила название "Знак", перешедшее на все движение.

Некоторые из беспартийных депутатов присоединились к "Знаку", и в Сейме 1957-1961 гг. группа имела в некоторые моменты 10-11 депутатов. На волне "Октября" линия "Знака" была нацелена на сотрудничество с режимом в процессе демократизации, свободного развития христианской культуры в Польше и гармонизации отношений Церкви и государства. При скором повороте гомулковского руководства от "оттепели" к новому напряжению церковно-государственных отношений группе "Знак" в Сейме осталась символическая роль провозглашения католических ценностей с трибуны Сейма и его комиссий, внесения запросов, подачи голоса против некоторых вновь вводимых законов. Депутаты выступали и по социально-экономическим вопросам – наибольшее эхо получили выступления депутата Эбигнева Макарчика о необходимости реформы цен и зарплат (так и до сих пор не проведенной) и депутата Мирона Колаковского против регулярного ужесточения уголовных наказаний, не приводящего к снижению преступности.

Группа "Знак" подчеркивала, что не считает себя ни представительством всей католической общественности в Польше, ни зачатком будущей католической партии, но остается символическим выражением реальных нужд верующих и Церкви. В Сейме созыва 1965 г. группа "Знак" осталась единственным элементом, нарушающим автоматизм голосования. Наиболее яркий случай – запрос "Знака" по поводу жестокого подавления студенческих волнений – приведен в книге. При новых выборах в 1969 г. партия не допустила кандидатуры Завейского, в результате новых перемен представители линии "Знака" остаются в депутатской группе в меньшинстве. В 1976 г. история депутатской группы "Знак" заканчивается: депутатами, без согласования с членскими организациями "Знака", а только по милости партии, становятся те, кто все эти годы вел в кругах "Знака" раскольническую политику. Хотя официально группа сохраняет название "Знак", в Польше ее называют не иначе как нео-"Знак", подчеркивая тем самым ее несвязанность с продолжающим действовать движением "Знака".

В последнее время имена деятелей "Знака" все чаще встречаются на страницах самиздатской прессы, а знаковские журналы давно предоставляют свои страницы писателям и публицистам, подвергнутым цензурному запрету.

<sup>6</sup> "Вензь" – ежемесячный католический журнал, издается с 1958 г. Философски редакция стоит на позициях персонализма. Связана со "Зна-

ком" и с Клубами католической интеллигенции. Во многих городах существуют дискуссионные клубы "Вензи". При журнале издается также книжная серия "Библиотека "Вензи".

<sup>7</sup> ПАКС (РАХ) – прорежимная католическая организация. В 1946 г. группа принимала участие в переговорах католических кругов с властями о возможном создании христианско-демократической партии. В конце 1948 г., перед объединительным съездом партии, группа провела кампанию в прессе, смыслом которой было принятие всей социально-экономической и политической доктрины марксизма-ленинизма с оговоркой о мировоззренчески-философском отличии. Это вызвало бурную реакцию католической прессы. В годы сталинизма ПАКС высказывается безусловно за модель социалистического общества, разделенного мировоззренчески, где оба мировоззрения представлены левыми, социалистическими силами: партией и прогрессивным ПАКСом. В 1952-1953 гг., по мере нового обострения отношений епископата и партии, ПАКС и его комиссия через съезды духовенства оказывают давление на епископат, чтобы тот уступал все новым требованиям властей.

Начиная с 1947 г. ПАКС имеет своих депутатов в Сейме. В 1955-1956 гг. ПАКС становится объектом резкой критики. Его обвиняют в том, что он раскалывал Церковь и создавал в стране и за границей ложную картину положения польской Церкви. В то же время от ПАКСа откалывается группа молодых – будущий коллектив "Вензи", осознавших, что искали соединения католичества с социальными идеалами не по адресу. В эпоху "оттепели" ПАКС делает ставку на сталинистов в партийном руководстве. Кровавое подавление Познанского восстания ПАКС оценивает как "сигнал вредности односторонней критики". Внутри ПАКСа формируется сильная оппозиция, которая пытается преодолеть линию Пясецкого. Кажется уже, что дни прежнего ПАКСа сочтены, но в январе 1957 г. Гомулка принимает Пясецкого и заверяет, что административные меры не будут приняты, и ПАКС предпринимает новое наступление на католические круги.

История ПАКСа – это история его постоянного приспособления к внутрипартийным фракционным интригам. В шестидесятые годы к власти начинает приближаться группа "партизан" под водительством Мочара, и на эту национал-коммунистическую группу делает ставку ПАКС. В 1965 г. ПАКС получает пять мандатов в Сейме – столько, сколько имеет "Знак". В 1967 г. глава ПАКСа обвиняет епископат в нелояльности, и в 1967-1968 гг. ПАКС идет едва ли не дальше партии, приписывая вину за либеральные тенденции "извечному треугольнику" американского империализма, германского реваншизма и международного сионизма. В этом духе ПАКС интерпретирует маргровские события, объявляя их делом детей отставленных от дел коммунистов еврейского происхождения. В Сейме атакует группу "Знак" за ее запрос по подавлению студенческих волнений.

В семидесятые годы стиль и программа ПАКСа не подверглись изменениям – даже после смерти основателя и главы ПАКСа Пясецкого в 1979 году.

<sup>8</sup> *"Тыгодник Повсехный"* – краковский католический журнал, один из основных центров движения "Знака". В 1-м номере редакционное объявление сообщало, что журнал будет аполитичным и беспартийным и не будет затрагивать актуально-политических вопросов и борьбы партий.

В 1952 г. Е. Турович и С. Стомма, ссылаясь на Соглашение Церкви и государства, высказывались в журнале за "социальный мир" и "сотрудничество между католиками и марксистами на благо нации". В то же время они писали, что критерием успеха "польского эксперимента" будет "вопрос независимости Церкви и свободы ее деятельности" и "проблема общего морального "климата" в государстве". Причем, свободу деятельности Церкви они понимали не только как свободу культа, но и как "свободу творенья христианской культуры".

В 1953 г. "Тыгодник Повсехный" был ликвидирован, редакция разогнана, а название журнала и право на его издание передано ПАКСу.

В конце 1956 г. начал выходить настоящий "Тыгодник Повсехный" с прежним составом редакции. В течение всей своей истории, не исключая и нынешних дней, журнал испытывает постоянные цензурные вмешательства.

<sup>9</sup> *"Письмо 34-х"* представителей польской культуры премьер-министру Циранкевичу (1964 г.) с требованием снять ограничения (в первую очередь – цензурные), мешающие развитию польской культуры. В связи с этим письмом в Варшавском университете состоялся первый с 1957 г. студенческий митинг.

**ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
СТАТУС—КВО  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ?**

**(Беседа английского политолога Джорджа Урбана  
с профессором Гарвардского университета Адамом Уламом) \***

*УРБАН.* В апреле 1969 года, когда бывший посол Соединенных Штатов в СССР Джекоб Д. Бим вручал верительные грамоты Председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, тот сказал, что "советское вмешательство в дела Чехословакии воспрепятствовало Третьей мировой войне". В июле 1974 года, в статье для газеты "Уолл Стрит Джорнал", Дж. Бим вспоминает эти слова Подгорного, сравнивая их с западноевропейской оценкой оккупации Чехословакии. В этой статье Дж. Бим поставил вопрос: "Почему мировое общественное мнение так недолго возмущалось оккупацией советского сателлита?"

В СССР и в Западной Европе, как следует из статьи Дж. Бима, существует мнение, что Центральная и Восточная Европа -- это постоянно действующий вулкан провинциального национализма и политической нестабильности, что страны Восточной и Центральной Европы в значительной мере способствовали началу не только Первой, но и Второй мировой войны и что они же могут стать причиной Третьей, если ослабят свой надзор стоящие на страже мира советские войска. "Некоторые представители официальных кругов западноевропейских стран говорят, -- пишет Дж.Бим, -- что им надоело заниматься Восточной Европой, в том числе и Восточной Германией, несмотря на то, что эти страны -- составная часть стратегической мощи Советского Союза". Сам Бим с таким отношением не согласен. Более того, он подчеркивает, что самое трагическое последствие Второй мировой

---

\* Текст этой беседы был напечатан в сборнике „Détente”, Издательство Temple Smith, London, 1976, p. 213-228.

войны — это неопределенность статуса Восточной Европы. Бим также считает, что слова Подгорного о советской оккупации Чехословакии выразили совершенно искреннее мнение советских руководителей.

*УЛАМ.* Это старая песенка Советского Союза. Даже когда русские не заняты пропагандой, они постоянно твердят, что сидя на плечах более сотни миллионов человек, — я имею в виду население стран Восточной Европы, — они служат делу мира. И все же мне трудно поверить, будто Подгорный действительно думал, что если бы русские не вошли в Чехословакию, началась бы Третья мировая война. Правда, чехословацкий пример мог бы стимулировать подобное же — или еще более радикальное — развитие событий в Польше, Венгрии, Румынии и Восточной Германии. Могла начаться цепная реакция, угрожающая целостности советского блока. Но из этого вовсе не вытекает, что если бы Москва не вмешалась в чехословацкие события, то НАТО, злоупотребив положением в Чехословакии, попыталась бы расколоть организацию Варшавского договора. Этому не может верить ни один советский руководитель. Подлинная же проблема заключается в следующем: "Какие перемены в одной или нескольких странах Восточной Европы могут вынудить Советский Союз развязать Третью мировую войну?" В период либерализации Чехословакии (1968 г.) о целостности блока заботились не только советские руководители, но и Гомулка, и Ульбрихт. Причем советское руководство, с самого начала сознавая необходимость выбить из Чехословакии либерализм, не сразу решило, как это лучше сделать. Но вернемся к тому, что сказал Биму Подгорный. Действительности утверждение Подгорного не соответствует. Но в то же время его слова информируют нас о том, как были готовы тогда и готовы сейчас поступить советские руководители в случае возникновения ереси типа чехословацкой, ереси, которая грозит нарушить статус-кво в советском блоке. По всей вероятности, угрозу статус-кво в советской сфере влияния руководители СССР будут воспринимать столь же серьезно, как угрозу военную, и реагировать соответственно.

*УРБАН.* Но не только русские, как пишет в своей статье Бим, придерживаются мнения, что всю эту сумятицу восточноевропейских наций, соперничающих языков, воспоминаний о прошлых



несправедливостях необходимо сдерживать даже драконовскими методами, так как в противном случае Восточная Европа может привести мир к термоядерной войне. В официальных кругах Западной Европы многие думают, что перед русскими следует снять шляпу за то, что они закружили крышку этого котла кипящих страстей. А в качестве примеров указывают на болгаро-югославские споры из-за Македонии, на венгерско-румынскую вражду из-за Трансильвании и т.д. Не трудно, однако, возразить, что в мире достаточно межнациональных конфликтов и без Восточной Европы, — вспомним хотя бы Ближний Восток или Кипр. Но, самое главное, следует помнить, что НАТО — это не Варшавский договор, что эти организации применяют совершенно различные средства контроля за своими членами. Если члены НАТО решат ликвидировать этот военный союз, выйдут из него или перестанут сотрудничать с ним, — в результате чего организация окажется неэффективной, — НАТО будет просто аннулирована. Члены НАТО могут даже воевать друг с другом, как это имело место между Грецией и Турцией. Государства Варшавского договора такой свободы лишены. Стоило только Чехословакии попытаться проводить *внутреннюю* политику не по советскому образцу, не помышляя при этом о выходе из Варшавского договора, как в страну вторглись "дружественные войска". Говоря иначе, утверждение, будто Советский Союз оказывает миру услугу, выполняя роль жандарма Центральной и Восточной Европы, только лишь подкрепляет советский гегемонизм.

*УЛАМ.* Но если мы логически продолжим ход мысли "западно-европейских официальных кругов", как их характеризует Бим, то сможем заключить, что и для стран Западной Европы господство СССР может оказаться "полезным". Ведь бесспорно, что распространение Pax Sovietica и на Западную Европу немедленно разрешило бы многие проблемы этих стран: террористы и маоисты были бы ликвидированы в течение суток, ирландские убийцы в Англии сразу бы осознали, что "чрезвычайный закон" Роя Дженкинса -- это детский лепет по сравнению с советскими порядками; стоило бы только появиться сотрудникам КГБ, прекратились бы волнения в университетах Западной Германии, а британские шахтеры забыли бы и думать о забастовках, так как

не хотели бы оказаться на рудниках Колымы или в другом таком же негостеприимном месте.

Я ни в коем случае не могу согласиться с мнением, что если страны Центральной и Восточной Европы получат свободу, между ними тотчас начнутся братоубийственные войны. Мне думается, что любой конфликт, который возникнет в этой области, можно будет очень легко разрешить. Исторический опыт научил страны Восточной Европы, что, поссорившись, они сразу попадают в ярмо какой-нибудь великой державы. Поэтому, получив свободу, они всячески постараются избежать ссор.

Нестабильное состояние Восточной Европы вызвано тем, что в странах этого региона сидят русские. Поэтому любой конфликт там сразу приобретает новое измерение, начинает разграваться на большой сцене, а сама суть конфликта непропорционально раздувается. Из-за советского присутствия, все проблемы Центральной и Восточной Европы превращаются в фундаментальные, а такие проблемы Советский Союз не умеет ни решать, ни игнорировать. Изменение курса внешней политики Румынии, например, не произвело бы в Советском Союзе впечатление землетрясения, если бы он не воспринимал Румынию как свой протекторат. То же самое можно сказать о "Пражской весне", о событиях в Польше и т.д. И, повторяю, источник нестабильности Восточной Европы — в советском господстве, а не в том, на каком языке ведется обучение в университетах Трансильвании, — хотя я могу допустить, что, при отсутствии общего врага, даже такого рода вопросы могли бы дать повод к конфликтам.

*УРБАН.* Советские власти изгнали Солженицына из СССР, рассчитывая, что за рубежом он станет менее опасен. Говоря теоретически, Кремль мог бы так же рассуждать и насчет стран Восточной Европы, то есть вытолкнуть их из границ своего влияния, так как они, как и Солженицын, грозят безопасности Советского Союза. Предположим, что так и произойдет. Однако, как и в случае Солженицына, результат может оказаться совершенно иным. Страны Восточной Европы тоже могут не удовлетвориться выходом из-под советского контроля и продолжать, как Солженицын, критиковать советскую систему. Не правда ли?

*УЛАМ.* Солженицын, еще находясь в Советском Союзе, был настолько крупной международной фигурой, что режим не мог в борьбе с ним применить традиционное замалчивание, а потому самым простым способом умалить значение Солженицына было избавиться от него. Что же касается стран Восточной Европы, то их *постепенное* высвобождение из-под контроля Советского Союза не было бы такой хирургической операцией, как изгнание Солженицына, если вообще тут уместно сравнение. Одним из решений может быть "финляндизация" Восточной Европы. В конце концов, Финляндия тоже находится в русской сфере влияния, — в старом, имперском смысле этого слова; финны ограничены в своих действиях в области внешней политики, в области обороны и даже в своей экономической политике, так как должны считаться с пожеланиями русских. С другой стороны, русские не вмешиваются во внутренние дела Финляндии так грубо и оскорбительно, как в дела Восточной Европы. Они терпимо относятся к демократической системе Финляндии и не используют свое влияние, чтобы обеспечить особые привилегии финским коммунистам. В Финляндии Кремль не обременил себя тяжелой заботой о том, что печатают финские газеты, что финны читают, как отправляют религиозные обряды, что идет в их театрах и т.п. А в странах Восточной Европы за всем этим Кремль следит. Таково в этом регионе наследие Сталина. Я думаю, что русские могут ослабить зажим и установить со странами Восточной Европы отношения финляндского типа, не ущемляя своих интересов. Даже более, в результате такой сделки, эти интересы были бы обеспечены *надежнее*. Повысился бы престиж Советского Союза в мире и улучшилось бы его экономическое положение, так как ему не нужно было бы тратить громадные средства на содержание воинских подразделений в Восточной Европе, что не только не рентабельно в экономическом отношении, но и с политической точки зрения в конечном итоге оборачивается против самого Советского Союза.

Пытаясь, однако, убедить советских руководителей и дипломатов в частных беседах, что такой шаг необходим, в ответ можно услышать: "Но если позволить социалистическим государствам выйти из блока, то они потребуют от нас возвращения территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в период с 1938 по 1945 гг., то есть территорий, оторванных от

нашего государства после Первой мировой войны, когда мы были слабы. А на это мы не пойдем". Народы Восточной Европы понимают, что им не под силу соперничать с интересами великой державы, которая обладает к тому же атомным оружием.

Мне думается, что если бы Москва ослабила контроль и позволила бы странам Восточной Европы идти своим путем, то в этих странах притупились бы, — а со временем, и вообще исчезли, — антисоветские настроения. Народы этих стран стали бы относиться к населению СССР дружелюбно, с благодарностью.

*УРБАН.* Мне хотелось бы продолжить сравнение стран Восточной Европы с Солженицыным. В 1974 году Солженицын в интервью корреспонденту американского телевидения Волтеру Кронкайту сказал, что Запад настолько занят эмиграцией части населения СССР, что перестал думать об остающемся там большинстве. В известном смысле Солженицын прав. Но полностью ли? Если согласиться со спорной точкой зрения русских националистов, то эмиграцию и изгнание российских диссидентов поощрять не следует, так как отъезд освобождает советское руководство от необходимости с ними бороться. Эмигрировавшие в Израиль евреи, эмигрировавший в Англию Кузнецов, проживающий в Париже Синявский, а в Нью-Йорке — Литвинов, да и сам Солженицын в Цюрихе, в известной степени нейтрализованы. Они, правда, остались живы, — и это, без сомнения, заслуга детанта, — но действия их теперь не столь эффективны. И очень может быть, что освобождение из-под советского контроля беспокорных поляков, чехов, венгров и словаков освободило бы советскую систему от крупных неприятностей.

*УЛАМ.* Советский Союз мог бы разрешить своим сателлитам выйти из своего блока по двум рациональным причинам, которые целиком соответствуют его интересам. Во-первых, если Москва искренне стремится к разрядке, то постепенное освобождение Восточной Европы будет самым убедительным доказательством серьезности ее намерений. Я подчеркиваю слово "постепенный" потому, что никто не ждет от Москвы моментального ухода из Восточной Европы. Но даже небольшой шаг, как, например, предоставление Румынии статуса Югославии, было бы для Запада конкретным доказательством, что детант -- не тактический ход, от которого СССР может отказаться в любой мо-

мент. Такой шаг был бы свидетельством, что Советский Союз решил всерьез урегулировать свои отношения с окружающим миром, поняв, наконец, что с советской формой империализма никто больше мириться не намерен.

Вторая причина, по которой Советский Союз должен был бы оставить сателлитов в покое, предоставив их самим себе, заключается в серьезнейших последствиях, которыми чревато их насильственное удерживание в блоке. До сих пор Россия сталкивалась с сателлитами один на один: в 1956 году — с Венгрией, в 1968 году — с Чехословакией. Ей пришлось также иметь дело с волнениями в Восточной Германии и Польше. Но предположим, — и это вполне вероятно, — что подобные события начнутся в нескольких странах одновременно и советскому правительству придется начать военные действия в разных районах Европы. Можно ли предсказать, во что такая ситуация выльется? В 1968 году Советскому Союзу исключительно повезло, так как чехословацкое руководство отказалось от вооруженного сопротивления. Но если бы решение было другим, то и результаты советского военного вмешательства могли иметь далеко идущие последствия.

*УРБАН.* Мне это не совсем понятно. Ведь с октября 1956 года у советских вождей было более чем достаточно возможностей убедиться, что Запад, — и Соединенные Штаты Америки, в частности, — не собирается нарушать установленных сфер влияния, несмотря на то, что и на Западе восхищались строительными рабочими в ГДР, борцами за свободу в Венгрии и пражскими реформаторами.

*УЛАМ.* Я не думаю, что так уж необходима помощь или моральная поддержка Запада, чтобы одновременные волнения в нескольких странах Восточной Европы поставили Советский Союз в весьма затруднительное положение. Как будет реагировать Москва, если беспокорства начнутся в Польше, Чехословакии и Восточной Германии в то же самое время? Как повлияют эти события на советскую систему? Приведут ли они к реставрации сталинизма? Или советское государство под давлением этих событий развалится вообще, а Россия — от Дуная до Амура — окажется в состоянии перманентного кризиса? Мы не знаем, как ответить на эти вопросы. Но если необходимости ответа хотят из-

бежать советские руководители, — ответа не в теории, а на практике, — то в их собственных интересах, — как в интересах самой России, — предоставить нынешним сателлитам автономию и независимость. И это не так уж невыполнимо. Никто не говорит советским вождям, чтобы они позволили странам Восточной Европы восстановить режимы, существовавшие там в период между двумя войнами.

*УРБАН.* Почему же тогда советские руководители так упорно противятся переменам, которые принесли бы пользу и им самим, и их стране? Может быть, мы не ошибемся, сказав, что наши аргументы могут показаться им ловушкой?

*УЛАМ.* Временами и советские вожди наталкиваются на искушение освободить сателлитов. С этой идеей заигрывал Хрущев и, — что очень любопытно, — Берия. Но я не буду сейчас анализировать их мотивы. А нынешнему руководству СССР крылья подрезал консерватизм. Оно не будет вводить перемен ни в сельском хозяйстве, ни в менее значительных отраслях народного хозяйства. И не потому, что так велит идеология, а просто потому, что советская верхушка боится любых изменений, боится осложнений, которые выйдут из-под контроля. Легче всего для них — не делать ничего.

*УРБАН.* Мы можем проследить в советской внешней политике ряд стереотипов. Так, например, русские никогда не отдают завоеванной ими территории. В одной из ваших статей вы писали, что для Советского Союза господство над Восточной Европой, — помимо роли буфера, которую исполняет Восточная Европа, — символизирует правоту коммунизма. Оно как бы подтверждает их историческую концепцию о постоянно растущей силе социалистического лагеря. И если советские вожди вдруг сказали бы полякам, чехам и венграм: "Пожалуйста, вот вам полная внутривнутриполитическая автономия, но признавайте наше влияние в вопросах внешней политики, как это делает Финляндия", — разве это не бросит тень сомнения относительно "закономерности" всего послевоенного политического развития России? Разве это не будет признанием де-факто, что у Москвы нет монополии определять историческое развитие мира, что история не движется по проложенным Москвой путям и что исторические процес-

сы могут быть обратимы? Я не хотел бы вступать в спор по этим вопросам на какой-нибудь конференции, где моими оппонентами были бы Суслов или Пономарев.

*УЛАМ.* Трудно сказать. Мне думается, что если бы Политбюро в свое время ответило Солженищину на "Письмо вождям" и этот конфиденциальный ответ оказался в наших руках, мы не нашли бы в нем излияний о Марксе и исторической предопределенности, о том, что советское руководство — орудие истории. Большая часть этого ответа была бы посвящена эгоистическим русским интересам, которые советская власть защищает не на страх, а на совесть. Можно понять, что советским руководителям трудно отречься от своей миссии публично, но освобождение Восточной Европы вовсе не поставило бы под сомнение основу советской системы. Советские вожди, безусловно, попали в плен своей собственной пропаганды, но все же, иногда, глядя правде в глаза, и они могут осознать, что, незначительно рискуя сейчас, они выиграли бы многое в перспективе. Сложившиеся сейчас отношения между Москвой и ее сателлитами наносят урон обеим сторонам. А если бы восточноевропейским странам разрешили проводить самостоятельную политику, в будущем эти отношения оказались бы выгоднее для всех. Наверняка у русских есть своя теория "домино". Они думают, — об этом, кстати, пишет Хрущев в своих воспоминаниях, — что компартия разваливается, как только лишается власти: после Праги может наступить очередь Варшавы, Будапешта, Бухареста, и не исключено, что самой Москвы. Но, как я уже говорил, страхи эти ни на чем не основаны, а диктуемая страхом политика оборачивается близорукостью. Нынешнее старое и косное советское руководство понимает что такое "общественно-политические интересы" несколько иначе, чем мы.

*УРБАН.* Вы серьезно думаете, что если волнения начнутся в нескольких странах Восточной Европы одновременно, то с такой ситуацией советское руководство не сможет справиться? При условии невмешательства Запада, разумеется. А ведь мы-то с вами знаем, что Запад никогда не вмешается!

*УЛАМ.* Да, я действительно думаю так. Вспомним недавнее прошлое. Разве мы когда-либо подозревали, что, придя к власти,

Хрущев станет представлять в руководстве СССР либеральное течение? Не только мы, даже сам Хрущев этого не подозревал. На высокий пост его назначил Сталин, он проводил в жизнь самые жестокие сталинские директивы... Но когда Хрущев оказался вождем и старался нащупать пульс партии, он увидел, что партия и широкие слои населения истосковались по более либеральной политике. И он начал такую политику осуществлять. Не в абсолютном смысле, разумеется. Но, по сравнению со сталинскими адом, хрущевские времена принесли значительное облегчение народу. Доклад Хрущева на XX съезде КПСС и последующая за съездом десталинизация оказали непосредственное влияние на Польшу и Венгрию, и, как мы знаем, польский Октябрь и венгерская революция явились испытанием советской системы на прочность.

Теперь представьте себе, что через двадцать-тридцать лет один или несколько членов политбюро будут претендовать на руководящую позицию. Начнется кризис, начнется борьба за власть и, наконец, к власти придет человек или группа людей, готовые покончить со всеми пережитками сталинизма и приобщить, наконец, Советский Союз к XX веку. Они проведут экономические реформы, модернизацию, рационализацию, изменят политический климат в стране и попытаются даже соблюдать советскую конституцию. И если такие перемены совершатся в Советском Союзе, мне трудно вообразить, как можно будет отказать в независимости Польше, Чехословакии, Румынии и Венгрии. Более того, в Советском Союзе во главе государства может вдруг оказаться человек, относящийся к странам Восточной Европы не как к сатрапиям, а как к равным. Я твердо убежден, что освобождение стран Восточной Европы – самое выгодное решение для Советского Союза. Он приобрел бы все, не теряя ничего. Цена, которую заплатил бы Советский Союз за освобождение стран Восточной Европы сейчас, по крайней мере, невелика. Зато получил бы он за это если не друзей, то хотя бы союзников. При менее благоприятных условиях Советскому Союзу придется расплачиваться гораздо дороже.

*УРБАН.* Вернемся к вопросу, который мы затронули в начале нашей беседы. Однако попробуем подойти к нему несколько иначе. Почему общественное мнение Запада уделяет огромное



внимание судьбе одних групп, — советских диссидентов, советских евреев, палестинских беженцев, греческих и турецких киприотов, — и в то же время почти не интересуется судьбой подавленных наций стран Восточной Европы?

Неосведомленность в проблемах Восточной Европы вызвана, вероятно, тем, что на Западе не очень любят вспоминать о действиях русских во время и после Второй мировой войны. Я коротко перечислю эти акты советского правительства. Из европейских государств только СССР после Второй мировой войны расширил свою территорию, только СССР предпринял вооруженные выступления против *союзных* европейских государств и оставил в них свои воинские части. Об экспансионизме СССР свидетельствуют захват восточных земель Польши и Румынии, Закарпатской Украины, принадлежавшей прежде Чехословакии; присоединение к СССР государств Прибалтики, значительной полосы Финляндии и, наконец, советский контроль над Центральной и Восточной Европой.

Представим себе, что в Европу попал марсианин, что в течение некоторого времени этот марсианин читал европейские газеты и слушал европейские радиостанции, а потом вернулся на Марс. Я ничуть не сомневаюсь, что у него создается впечатление, что во всех неприятностях Европы виноваты греческие полковники, Каэтано и нации Восточной Европы, бестактно требующие независимости от Советского Союза и поддержки своих требований Западом.

Кто, кроме Джорджа Кеннана, не только помнит, но и напоминает другим, что действия Советского Союза в Центральной и Восточной Европе полностью противоречат первым официальным советским документам — например, ленинскому "Декрету о мире"? В этом декрете Ленин предлагал всем воюющим сторонам справедливый мир "без аннексий и контрибуций". Я хотел бы привести отрывок из этого декрета, как бы непосредственно касающийся советского вторжения в Венгрию и Чехословакию, подавления Советским Союзом всей Восточной Европы.

"Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства насильем, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию -- все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях

партии или возмущениях и восстаниях против национального гнета, — не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и насилием”.

(В.И. Ленин, Сочинения т. 26, стр. 218 изд. 4)

*УЛАМ.* После проигранной вьетнамской войны и травмы Востергейта американская общественность не перестает заниматься самобичеванием. Европейцам это, может быть, покажется странным, но простой американец в глубине души всегда верил, что Бог — американец и что пуританская этика обязательна для всех. А сейчас его вера поколеблена. Америка устала. И это проявляется в ее внешней политике. ”Мы наделали столько ошибок!” Многие, — и не только левые, — думают, что главная угроза миру -- Пентагон, что мы окружили Советский Союз военными базами и что вообще пора Америке перестать играть роль всемирного жандарма. Мы так много энергии тратим на самокритику, что не остается сил возмущаться Советским Союзом. После Вьетнама американцы молились: ”Господи, прости Америку, грешную!” И до сих пор многие бьют себя в грудь, восклицая: ”Меа кульпа!” Положение поляков, чехов и венгров вряд ли беспокоит даже читателей ”Нью-Йорк Таймса”, а об остальных и говорить нечего.

*УРБАН.* Вьетнам находится в пятнадцати тысячах километров от США. С точки зрения расы, истории, культуры и языка, у американцев нет ничего общего с вьетнамцами. И все же Вьетнам оставил глубокий след в американской психике. Сострадание вьетнамцам изменило ход истории. Несчастья же поляков, чехов и венгров, с которыми у американцев куда больше общего, не вызвали никаких угрызений совести, несмотря на усилия, — правда, не очень энергичные, — американских граждан польского, чешского или венгерского происхождения.

*УЛАМ.* Быть может, причина в том, что вьетнамцы не похожи на нас. Быть может, американцы думают, что Вьетнам — это преступление белых европейцев против цветных? И разве так уж

важно в сравнении с этим чувством вины, если часть европейского континента испытывает некоторые неудобства из-за того, что над ней господствует другая часть той же Европы? Разве не настало для Запада время искупать грехи западной цивилизации? Такие идеи вы можете встретить довольно часто. Действует также сила инерции. Русские уже так долго сидят в Центральной и Восточной Европе, что их присутствие там воспринимается как само собой разумеющееся. Даже весьма искусственный в политике американец не может вообразить, чтобы в Восточной Европе что-то переменялось. Вам могут задать и такой вопрос: "Чего вы хотите, сбросить на Россию атомную бомбу?" Никто, конечно, не собирается бросать бомбы. Но можно было бы оказать моральное, экономическое, политическое и военное давление, — тогда отпала бы надобность даже в таких открытых формах давления с целью добиться от Советского Союза уступок, как, например, поправка Джексона. К несчастью, среднему американцу такие методы кажутся чересчур рафинированными. Для среднего американца все наши возможности ограничены дилеммой: сбросить бомбу или не сбросить. Для внешней политики это слишком примитивная аргументация. Я мог бы напомнить, что с 1815 по 1900 гг. задачу жандарма мира выполнял британский флот, которому совсем не часто приходилось пускать в ход пушки, чтобы обеспечить Pax Britannica. Само существование королевского флота давало понять друзьям и врагам, что фундамент британской дипломатии — военная сила.

*УРБАН.* Такую же позицию пытается занять сейчас СССР. Поэтому он и форсирует строительство военного флота. Рост советских военно-морских и сухопутных сил, плюс равновесие в области атомного оружия с США, может в течение пяти-десяти лет заставить Европу уступить Советскому Союзу. И ни одного советского танка не понадобится вводить для этого на улицы Бонна или Парижа.

*УЛАМ.* Совершенно верно.

*УРБАН.* Почему же этот вполне вероятный сценарий вовсе не волнует американский народ?

*УЛАМ.* Ответить на это не просто. Детант популярен потому, что при нем нервы спокойнее. Когда русские делают мельчай-

шие уступки, мы засыпаем в хорошем настроении: отношения замечательные и не будет надобности прибегать к страшному оружию, хранящемуся в арсеналах. Решительная позиция Америки такие иллюзии развеяла бы полностью — не только у населения США, но и у наций Западной Европы. А у меня нет никаких оснований предполагать, что англичане, французы или немцы больше американцев озабочены положением в Восточной и Центральной Европе. Обратите внимание хотя бы на следующее: Солженицын и Сахаров — великолепные сюжеты для газет. О них пишут много. Но затронутые ими проблемы не очень-то освещаются журналистами.

*УРБАН.* Идеалистическая или, допустим, наивная оценка СССР — не новое явление в американской истории. Всем известно, что Рузвельт верил в добрую волю Сталина и готов был сотрудничать с ним. Нет надобности распространяться об этом. Иллюзии американцев о Советском Союзе уходят своими корнями в далекое прошлое. Президент Вудру Вильсон, в своей речи перед Конгрессом (это было в апреле 1917 года, когда Вильсон заявил о вступлении Америки в войну) охарактеризовал февральскую революцию так:

”Кто знает Россию, тот понимает, что под обманчивой поверхностью — это страна демократическая... Авторитарическая верхушка ее политической структуры... не была русской ни по происхождению, ни по характеру, ни по целям. Сейчас эта верхушка низвергнута. И великий благородный русский народ, во всем его наивном величии и мощи, стал в один ряд с теми народами земного шара, которые борются за свободу, справедливость и мир”.

Но вы сами прекрасно знаете, что вера в демократические инстинкты русской нации, в то, что самодержавие было импортировано в Россию, что русская революция будет способствовать установлению свободы и справедливости во всем мире, основана на ошибочном толковании русского характера, русской истории вообще и событий 1917 года в частности. Эта ошибка вызвана склонностью американцев видеть мир американскими глазами и судить о поведении других наций по себе. По словам Джорджа Кеннана, как Вильсон, так и американская общест-

венность видели в русской революции ”политический переворот по-американски — как республиканский, либеральный, антимонархический”. Более ошибочной оценки и придумать трудно. Нынешняя американская политика разрядки — это несколько модифицированная традиционная политика Америки. Но когда великая держава противопоставляет проверенным реалиям международной политики свои иллюзии, идеализм и желание своего народа быть одурманенным, лишь бы избежать болезненных чувств, это становится опасно не только для самой этой великой державы, но и для всего западного мира.

*УЛАМ.* В нынешней международной обстановке действия США оправдать невозможно. Со временем сама история наверняка разъяснит Америке, что к чему. Но сейчас даже политика Киссинджера, то есть политика равновесия сил, не имеет широкой поддержки. Киссинджера обвиняют в том, что он игнорирует Организацию Объединенных Наций. ООН, — говорят ему, — как раз и является платформой, на которой следует проводить дипломатические переговоры. Похвальное, но совершенно неразумное мнение.

В американской политике по отношению к Восточной Европе отражается, как в зеркале, общая позиция американцев. Мы хотим спокойной жизни, поэтому мы легко соглашаемся со всем. Мы понимаем, что не можем добиться перемен в Восточной Европе силой оружия, но при этом мы не понимаем, что от русских мы сможем добиться большего, если Восточная Европа будет оставаться в повестке дня переговоров Восток -- Запад. Больше всего по поводу нашей незаинтересованности делами Восточной Европы недоумевает, по-моему, сам СССР. Его руководители должны не переставать удивляться нашему беспомощному признанию их гегемонии. В течение последних тридцати лет история нашей страны характеризуется в первую очередь нерешительностью правительства и упущенными возможностями. И мне больно из-за этого. Еще двадцать пять лет назад все козыри были в наших руках. Советский же Союз в то время был слаб в военном отношении, истощен экономически. И вот тогда, в обмен на признание Западом изменившихся после Второй мировой войны границ, мы могли добиться от Союза серьезных уступок. Немецкий вопрос тоже мог быть решен иначе:

Москва настолько опасалась в первые послевоенные годы угрозы со стороны сильной Западной Германии, что в обмен за ликвидацию такой угрозы готова была даже уступить Восточную Германию. И если бы мы учли тогда эти страхи Москвы, то, возможно, могли спасти и Чехословакию. Теперь же русские прочно обосновались в своих владениях, а мы упустили все шансы. Русским детант дает все, а мы только делаем вид, будто получаем что-то взамен.

*УРБАН.* Мне кажется, что после Второй мировой войны все мы ошибались в оценке военной мощи СССР, чересчур доверяя советским заявлениям. Эта ошибочная оценка в такой же степени обусловила образ наших действий, как и наша нерешительность.

*УЛАМ.* В этом большая доля истины. В сороковые и пятидесятые годы перед нашими глазами была вполне реальная картина России — со всеми ее слабостями. Но несмотря на это, нам казалось, что ни военное, ни экономическое превосходство не защитит нас, так как поведение Сталина, а позже Хрущева, выходило за рамки всех привычных нам правил. Сейчас мы многое знаем из воспоминаний Хрущева, но тогда мы были напуганы, даже парализованы откровенно неуступчивой политикой СССР, в этом отчасти была повинна и неумелость наших дипломатов. Положение изменилось во времена Ричарда Никсона, после урегулирования американско-китайских отношений. В шестидесятые годы раскол между Китаем и СССР давал нам шанс, и только от нас зависело, воспользуемся ли мы представившейся возможностью. И если бы мы уже в 1962 или 1963 гг. пошли на сближение с Китаем, то могли избежать Вьетнама. Но мы и тут оказались в хвосте. А дело в том, что если бы Америка уже в шестидесятые годы воспользовалась советско-китайским конфликтом и соответственно перестроила свою внешнюю политику, то общественное мнение сочло бы такую политику великодержавной.

И еще один пример наших ошибок. В 1970, 1971 и 1972 гг. мы полагали, что вьетнамцы полностью зависят от Советского Союза. В переговорах с СССР о разоружении и в торговых переговорах мы уступали заранее, предполагая, что за это русские нас отблагодарят, содействуя соглашению об окончании вьетнамской войны. Русские принимали все наши уступки, но сами

не могли добиться от вьетнамцев, чтобы те выполняли свои обещания.

*УРБАН.* Быть может, мы не совсем правы, предполагая, что советские вожди — чудовища, эгоцентрики, ничем не брезгающие люди, единственная цель которых — захватить и удержать власть. И даже если верно, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, то верно и то, что даже самый неразборчивый в средствах человек чувствует известную ответственность за судьбу миллионов мужчин и женщин, от имени которых, — по праву или нет, — выступает и которыми управляет. Джордж Кеннан в одной из своих работ писал:

”Каким бы ни был деспотом правитель, как бы ни были далеки его идеи от интересов тех, кем он правит, сам факт пребывания у власти... определенным образом отождествляет его с подданными... Поэтому невозможно пользоваться властью лишь для достижения какой-то идеологической цели, если она не имеет никакого отношения к интересам управляемых”.

Это замечание Кеннана полностью подтверждается правлением Хрущева. И я подозреваю, что подлинные цели советского руководства в связи с детантом обусловлены стремлением добиться в СССР большего благополучия для большего количества людей. Если бы не это, они могли бы по собственной воле продолжать сидеть на пороховой бочке.

*УЛАМ.* Ни в коем случае не следует недооценивать силу традиции деспотизма в русской истории. Начиная с Ивана Грозного и до настоящего времени, — за исключением всего лишь нескольких лет, — Россия знает лишь авторитарную форму правления в комбинации с репрессиями различной интенсивности. В общих чертах, советская власть продолжает эту традицию.

Но, конечно, верно и то, что советские вожди, по логике вещей, обязаны думать о благе народа, — как они его понимают, естественно. Что же касается внешней политики, то общественное благо ассоциируется у них с русскими национальными интересами, или, по крайней мере, так это им представляется.

Советские вожди убеждены, что, ограничивая свободу сателлитов, они действуют в интересах русского народа, хотя в об-

становке детанта и страны Восточной Европы могли бы стать более свободны. И я опасаясь, что большинство русских поддерживает эту традиционно шовинистическую линию советской политики.

Но существует противоречие между благом общества в понимании Кремля и других, — в том числе и руководителей некоторых стран Восточной Европы. И это подтверждает замечание, на которое вы ссылались, что даже правитель-деспот в какой-то степени должен отождествлять себя с подданными. Примером служит не только Восточная Европа, но и Россия. В условиях детанта советскую цель в отношении сателлитов можно, по моему, определить так: народы и правительства стран Центральной и Восточной Европы должны чувствовать свою беспомощность, не теряя при этом надежды. Их беспомощность определяется неизменностью политического статуса этих стран, а надежда направлена на повышение жизненного уровня и расширение внутривнутриполитических свобод. Возникает, однако, другой вопрос: насколько расширение свобод и повышение уровня жизни уложатся в установленные Советским Союзом для Восточной Европы рамки? Ведь народы Восточной и Центральной Европы могут, наконец, почувствовать, что настало время заявить открыто о своем недовольстве. Если бы Кремль поступил разумно, — благоразумнее, чем до сих пор, — если бы он использовал детант, чтобы избавить Советский Союз от бремени Восточной и Центральной Европы, нам с вами не пришлось бы задумываться, угрожает ли Восточная Европа безопасности СССР.



Борис Шрагин

## СИЛА ДИССИДЕНТОВ \*

Их история длится больше десяти лет. Временами кто-нибудь провозглашает, будто с ними покончено. И ошибается раз от разу.

Кучка людей противостоит правительству, совместившему репрессивные возможности деспотии и технологической цивилизации XX века. В таких условиях, казалось бы, малейшее поперек сказанное слово невероятно, как невероятно противиться горному обвалу.

И все-таки эта власть неуклюже возится с несколькими смельчаками, не умея справиться.

Это зрелище должно бы дать мыслительную пищу философам.

Диссиденты понесли много утрат. Параграфами их истории стали аресты, суды и крутые приговоры. Многие отбыли свой срок, многие и сейчас еще там. Все это известно. Но именно заурядность этих сведений заводит наблюдателей в тупик.

Как это возможно, чтобы кто-либо избрал такой удел, зная его наперед? На что ему надеяться? И почему все-таки государство не раздавило этих диссидентов как насекомых?

Некоторые хитроумцы придумали, что государству потому-то и потому-то выгодно оставлять диссидентов на развод. Другие подчеркивают, что диссиденты, в сущности, мало государство тревожат, а потому оно лениво расправляется с ними только от случая к случаю. Наконец, самые смелые высказывают догадку, что диссиденты получают присвоенное содержание из заветного окошечка.

Базу этих гипотез составляет трепетная вера во всемогущество физического насилия, в беспомощность перед ним нравственных и правовых резонов. Но даже если не исповедовать этой

---

\* Сокращенный текст статьи, опубликованной в "Синтаксисе", 3.

веры, которой одной достаточно для увековечения правительственного самоуправления, здравомыслящий взгляд находит у диссидентов тьму несуразностей. Они избегают тактики, издавна усвоенной оппозициями, попадавшими в сходные условия. Нет у них явок, конспиративных квартир, подпольных типографий, шифров, симпатических чернил и разветвленной агентуры. Нет вождей, наделенных авторитетом решать и приказывать. Нет у них ни групповой дисциплины, ни устава, ни отчетливой программы. В стране закоренелого бесправия они ведут себя так, будто защищены законом.

Как это возможно, что правительство Брежнева не стерло до сих пор в порошок простаков, которые подписывают собственное имя и любезно присовокупляют свой адрес, предпринимая нечто немыслимое с точки зрения устоявшихся в стране нравов?

Более десяти лет они будоражат, не дают о себе забыть. Им сочувствуют. Им сострадают. Но иногда подсмеиваются над их наивностью. И раздражаются, потому что они мешают людям некрайним отправлять житейские функции. От них трудно отвязаться, как от совести.

Было бы легче предоставить диссидентов их добровольно избранной судьбе, если б не их успехи. Самый трезвый прагматик не может не признать, что они кое-чего добились. Факт остается фактом: они — единственная оппозиция, которая умеет сохраниться в Советском Союзе.

Упорное нежелание платить за беззаконие той же монетой выделило их среди иных попыток противостоять режиму.

Пока длится мирная борьба диссидентов, возникло несколько организаций, пытавшихся возродить старую русскую традицию революционного подполья с его неизменными двойками, тройками и тузами. Ядра таких организаций сразу разбивались властью. Никто бы про них и не услышал, не будь этих прекрасодушных и либеральных правозащитников, наладивших сбор и публикацию сведений о текущих правительственных репрессиях.

Когда позарез нужно разделаться с кем-нибудь из диссидентов, КГБ вымучивает неловко скроенные обвинения. При аресте Александра Гинзбурга ему подсунили иностранную валюту; при аресте Олексы Тихого подбросили старое ружье. Когда КГБ принялся сочинять дело вокруг таинственного взрыва в московском метро, планируя свалить его на диссидентов, стало ясно,

с какого рода оппозицией предпочло бы бороться правительство Брежнева. Но поскольку диссиденты не устраивают заговоров и чтут уголовный кодекс, самовластному правительству придется раскидывать черную, врать и проговариваться. Они поменялись с правительством местами, взяв на себя защиту правопорядка, оставив на долю власти уголовщину.

По-видимому, в истории, как и в природе, действителен принцип экономии сил. Человечество расточительно, когда разрушает: массой берется верх в революциях и войнах. Но для созидания нужно ровно столько людей, сколько сможет применить свои силы. На все человечество хватило одного Гомера, одного Эйнштейна.

Диссидентов столь мало, что невозможно говорить о разреженности их рядов; тут не ряды, а отдельные индивидуумы и каждый решает за себя. Но будь их больше, и характер движения, и его цели были бы иными. Предположим, что в Московской группе содействия по соблюдению Хельсинкских соглашений было бы не одиннадцать, а тысяча членов. Ясно, что тогда было бы уже не "наблюдение", а что-то другое. Количество в данном случае соответствовало задаче, и потому на место оказавшихся за решеткой или выпихнутых в эмиграцию пришло примерно столько же новых. Репрессии отражаются на судьбах диссидентов, на их семьях, но не останавливают их дела.

Нельзя обскакать историю и не нужно. Нетерпение искажает работу созидания. Добиваясь невозможного, применяют излишне сильные средства. Диспропорция между достижимым и желаемым чревата фальшью, демагогией.

Диссиденты узнали об этой опасности из отечественной истории, а их падения случаются тогда, когда они забывают ее уроки.

При деспотиях не большинство решает. При деспотиях большинство пассивно. Но зато решающее значение получают активные меньшинства. Опираясь на действительное или показное единомыслие, деспотии не умеют мирно справляться даже с единичными голосами протеста. Они тверды, но не гибки.

Ошибочно думать, будто диссиденты не влияют на состояние умов в стране. В конце концов, неизвестно, сколько народу предано существующей власти. После неудачи при выборах в Учредительное собрание, правительства от Ленина до Брежнева

не рисковали испытывать свою популярность свободным голосованием. Допустим, что им виднее.

Можно надеяться, что со временем диссидентское движение перерастет в более массовое, если выдержит конкуренцию с русским национализмом, которым заполняется идеологический вакуум, оставшийся после разочарования в коммунизме. Кстати, само размножение националистов, которые посреди господствующего произвола внезапно почему-то затосковали по произволу же, свидетельствует, что диссиденты несут реальную альтернативу для будущего. Ведь иначе непонятно, откуда еще могут взяться в России все эти "ужасы" парламентаризма, плюрализма и терпимости, о которых кричат националистические пророки.

Диссиденты -- это люди, принявшие на себя долг защищать тех, кто ущемлен в своих гражданских правах. Из этого зерна ветвится обширная крона. К диссидентам подключаются и евреи, добывающиеся права на эмиграцию, и крымские татары, борющиеся за право вернуться на землю своих отцов, и украинцы, и грузины, и армяне, желающие воспользоваться своим конституционным правом на национальное самоопределение, и прибалтийские народы, стремящиеся к восстановлению своей национальной независимости; и пятидесятники, и баптисты, и литовские католики, которых лишили свободы вероисповедания, и православные, настаивающие на своем праве оспаривать атеизм. Диссиденты расчистили пути скрещения, на которых встречаются по-разному угнетенные люди. Тут уже не единицы, а тысячи и десятки тысяч.

Отработанные диссидентами методы защиты гражданских прав и свобод распространяются. По образцу "Хроники текущих событий" созданы теперь локальные Хроники -- украинская, литовских католиков, христиан-баптистов. Вслед за Московской хельсинкской группой сложились такие же на Украине, в Грузии, в Прибалтике. Первые шаги рабочих в защиту своих экономических и социальных прав принимают типично диссидентские формы.

Демократические институты могут утвердиться лишь в демократически настроенном обществе. Они не навязываются приказами. Лучше научиться пользоваться существующими законами, как бы скверно они ни были сформулированы, чем немед-

ленно ломать существующий правопорядок, рассчитывая возвести на расчищенном месте новый, совершенный. Когда законы упразднены, вступает в силу "интуиция справедливости", т.е. хаос. Поэтому, как это ни трудно, как это ни парадоксально, остается лишь постепенный, эволюционный путь от деспотизма к демократии.

Диссиденты не отрываются от реальности. Для их движения характерно сочетание чистого морального идеализма с пессимизмом. Их борьба за права человека остается невидимым фоном современной советской истории. Диссиденты спасают честь населения огромной империи. Они показывают, что не все в ней сгнило, и создают преемственность духовных ценностей. Для современной истории они имеют такое же значение, как некогда декабристы или народники. Тех тоже было мало. Их тоже гнали и мучили на фоне всеобщего безучастия. Но что бы была русская история прошлого столетия без них? Про Брежнева, вероятно, останется во всеобщей памяти то, что Сахаров имел несчастье быть его современником. Так, мы помним про Бенкендорфа, потому что читаем Пушкина.

Роль диссидентского сопротивления лучше всего объяснить предположением "от противного". Допустим, его нет. Тогда бы, как при Сталине, неугодные люди исчезали бы без следа. А теперь деяния правительства, -- по крайней мере, в области прав человека, -- раскрыты для дневного света. В сравнении с разными видами оппозиционной деятельности, о которых международная пресса сообщает теперь подробности почти ежедневно, количество арестов явно уменьшилось. Прежде сажали и истребляли за несравненно меньшее, чем делают теперь люди, оставляемые на свободе. Теперь, не спросив разрешения, можно опубликовать за границей книгу и не оказаться немедленно за решеткой. Встречи и откровенные разговоры с иностранцами, которые стали почти буднями, недавно еще не привиделись бы и во сне. Власть затравленно бежит от гласности, которая ее настигает.

Микроскопические симптомы раскрепощения достигаются каждый раз с боем, ценой риска и страданий.

Власти вынуждены сдерживать свой обычай разрешать внутренние конфликты прямым насилием. Даже некоторые модернизированные приемы политических репрессий несут на себе неяркие следы диссидентского сопротивления. Например, исполь-

звание психиатрии в борьбе с инакомыслием трудно было бы объяснить, если б не боязнь властей снова и снова нарываться на скандалы, не раз уже вспыхивавшие вокруг политических процессов. Сажать же людей без суда и следствия тем более теперь немислимо. Однако и эти уловки не надолго остались в тайне.

За годы легального сопротивления диссиденты раскололи маску, которую советское правительство привыкло натягивать на себя перед внешним миром. Это способствовало выработке более здравых представлений о Советском Союзе. Существование диссидентов стало неперенным условием реальных контактов между людьми и идеями, ибо без них невозможно проверить легкое на лганье советское правительство.

Наконец, диссиденты неожиданно вторглись в современную дипломатию. Правительства Западной Европы и Соединенных Штатов долго не обращали на них внимания. Но уже Хельсинкские соглашения оказались прорывом.

В чем же их сила? Активных диссидентов внутри Советского Союза действительно ничтожно мало. Однако они — всего лишь часть *международного* движения, без которого и вне которого само их существование нельзя и помыслить.

Вот простая иллюстрация. 25 августа 1968 года шестеро диссидентов вышли на Красную площадь в Москве, протестуя против оккупации Чехословакии советскими войсками. Событие это общеизвестно. Но каким образом? Демонстрация длилась считанные минуты, пока подбежавшие милиционеры и агенты в штатском отнимали и рвали лозунги, били демонстрантов и запихивали их в машины. Случайные прохожие, скорее всего, не успели разобраться, что же происходит. Если их спросить, они бы рассказали, что милиция на их глазах арестовала каких-то хулиганов. И все. Единственного открытого, гласного выступления советских граждан против агрессивных действий своего правительства как бы и не было. Отчаянный жест безрассудных смельчаков — больше ничего. Новые жертвы террора канули бы в глущую безвестность, и дай Бог, чтобы через пару десятилетий кто-нибудь походя помянул их имена.

Но на Красной площади демонстрантов ждали иностранные корреспонденты, которые немедленно написали отчеты о случившемся. Их сообщения возвратились в Советский Союз в передачах иностранных радиостанций. Демонстрация 25 августа стала международным событием.

Главным фактором, возбуждающим и поддерживающим на должном накале диссидентские действия в Советском Союзе, стали укрепляющиеся контакты с заграницей. Железный занавес продырявился. Однако гуманистически и либерально настроенные люди как в Советском Союзе, так и за рубежом, нашли друг друга, поняли, объединились. Этого достаточно, чтобы почти обесмыслить работу КГБ, потому что легче не сломиться, когда знаешь, что ты не один, не забыт, не брошен в неизвестность.

Но если это так, то не права ли хотя бы отчасти советская пропаганда, которая твердит, что диссиденты не имеют почвы в своей стране, а держатся лишь поддержкой извне, что они — чужаки в своем отечестве, готовые провалить международное сотрудничество ради своих узко групповых целей? — Нет, не права. Потому не права, что у диссидентов нет групповых целей, а их идеалы не ограничены местным масштабом.

Еще один пример. Биолог Сергей Ковалев — русский, агностик, москвич — был арестован, судим в Вильнюсе и приговорен за то, что помогал литовским католикам защищать их национальную и религиозную свободу. Так что же тут местное и групповое в жертве Ковалева?

Диссиденты отстаивают не какое-либо особое право, а сам принцип права, где бы и как бы ни страдали люди от его нарушения. Их идеалы космополитичны. И нет разницы между ними и любым человеком сходных взглядов, живи он в Старом или Новом свете. Особенность их положения лишь в том, что им приходится действовать в опасной близости от нарушителей человеческих прав.

Международное движение в защиту прав человека возникло после второй мировой войны.

Не все понимали, что предшествовавшие войне Мюнхен и сталинский советско-германский пакт, хоть и продиктованы были рациональным расчетом, обернулись стыдом и глупостью одновременно. Но фактическое положение дел было именно таково.

В те годы Альбер Камю записал в своем дневнике:

”Каждый раз, когда я слушаю политическую речь или читаю заявления тех, кто нами управляет, я ужасаюсь, потому что не улавливаю в них ни малейшей человечности.

Вечно все те же слова, несущие все ту же ложь. И в том, что с ними свыклись, что гнев народа не переломал давно, во всех этих марионеток, я вижу свидетельство, что люди не придают серьезного значения своим правительствам и что они играют, поистине играют, своими жизнями”.

Из таких чувств, из таких размышлений родилось движение за права человека.

И хотя война завершилась не только дипломатическим соглашением в Потсдаме, но и Нюрнбергским процессом, сияние победы ослепляло и мешало людям сразу распознать правду. И после войны, деля ее плоды, политики и дипломаты продолжали заключать свои сделки на счет человечности. Они и по сей день не отстали от этой привычки.

Движение за права человека окончательно сложилось к середине 60-х годов почти одновременно на территории двух бывших союзников по антифашистской войне — в Соединенных Штатах Америки и в Советском Союзе.

В обоих случаях делалось ударение на гражданском, правовом аспекте человеческой свободы. В обоих случаях активисты правового движения добивались, чтобы красивые слова их правительств совмещались с делами. Твердым принципом было неприятие насилия; главным методом — гласность. Вопреки школьной социологии, они образовали группы, борющиеся не за свои и не за чужие, а за универсальные интересы.

Но на этом, — впрочем, немало, — сходство кончается. Движение за гражданские права в Америке сумело раскачать и увлечь за собой общественное мнение.

Американское движение за гражданские права послужило стимулом для усвоения тех же ценностей в международном масштабе. ”Движение диссидентов , — писал Жан-Франсуа Ревель, — распространялось ли оно в различных частях мира или возникало там стихийно, складывалось и совершенствовалось в Соединенных Штатах”. Наконец, при президенте Картере принципы прав человека были провозглашены как основа официальной политики правительства.

Активистов правозащитного движения в Советском Союзе ожидала другая судьба. Они так и остались маленькой группой, открытой для преследований.



И все-таки было бы несправедливо признать в движении советских диссидентов лишь периферийный, отдаленный участок общего процесса. Они внесли свой вклад в общее дело, и он настолько серьезен, что, не беря его в расчет, нельзя понять, что такое движение за права человека в целом. Думаю, что многие недоразумения были бы развеяны, если бы не судили о диссидентах по одним только западным меркам. И дело тут вовсе не в том, что будто бы в Советском Союзе гнет тяжелее, чем где бы то ни было. Люди, которые так говорят, движимы эгоизмом страдания, который чужд экзистенциальным основам современного диссидентства.

Выступления в защиту человеческих прав повсюду начинались не с четко продуманной теории, а с эмоционального импульса. Как моральный императив он представляется самоочевидным, естественным, заданным в готовом виде. Но, без должной рефлексии, без логического самоконтроля, он легко наполняется совсем чужим ему содержанием. Здесь возникает ситуация, которая описывается поговоркой: благими намерениями вымощена дорога в ад. Дорогой в ад оказывается поглощение идеи прав человека политической идеологией "левого" или "правого" толка, коммунизма или антикоммунизма. Потому что тогда принципы прав человека утрачивают свою самоценность и самодостаточность, обращаясь из цели в средство, в тупое орудие, которым метят в голову политического противника.

И вот, если не отчетливое сознание, то объективные условия их деятельности в целом уберігают диссидентов Советского Союза от этого губительного направления. Самим своим существованием они подтверждают призрачность противоположения "правого" и "левого". Линия принципиального размежевания, оказывается, проходит совсем не тут, не там, где, не стесняясь в средствах, стремятся навязать свою правду противнику, а там, где взвешиваются на точных весах прежде всего именно средства.

Истина эта проста, но непривычна современному человеку. Поэтому столь многим кажется, будто борьба и само существование диссидентов в условиях Советского Союза бросает вызов здравому смыслу. Ведь применительно к общественным явлениям, идеи и нормы, которые мы принимаем, производны от нашего жизненного обычая. Они закрепляют модель социально-

го мира, которая служит нам ориентиром в повседневном поведении. Профессиональные ученые лишь артикулируют то, что средний человек признает за данность. И вот данность, выявляемая диссидентами, расходится с общепризнанной. Отсюда — непонимание, которым диссиденты окружены, даже когда им сострадают. Отсюда же время от времени появляются заметные расхождения между действиями диссидентов и их собственными суждениями об этих действиях. Перевести суть движения за права человека на канонизированный язык современной политологии и социологии не так просто, как это обычно представляется. Изогранный инструментарий научного анализа ломается от прикосновения к этой сути. Когда теория чужеродна предмету, возникают замысловатые, неуклюжие мыслительные конструкции: так Птоломей объяснял движение небесных тел.

Диссиденты — не просто жертвы произвола, они имеют цель. Чтобы их не сажали, надо было всего лишь молчать, как и полагается добропорядочному советскому гражданину, когда сажают других. Наблюдатели способны понять такое молчание, но не имеют мыслительных средств уяснить для себя смысл диссидентского протеста. Поэтому величайшее достижение его, когда положение с правами человека в Советском Союзе превратилось, наконец, в серьезную международную проблему, начинается казаться результатом чьей-то опрометчивости.

Советское диссидентство возникло в обстановке крушения коммунистической иллюзии. Его опыт показывает, что внутренне, духовно невозможно преодолеть коммунизм, по привычке отделяя политику от морали, политику от права.

Но именно поэтому советскому правительству трудно справиться с диссидентами — не физически, конечно, но морально. Стоит почитать советскую прессу, чтобы увидеть, что существующему в СССР режиму совершенно нечего противопоставить принципам прав человека, кроме отчаянно грубого, заведомо очевидного искажения фактов. Каждое правительство, каждый политический режим получает оппозицию. Это естественно. Каждое правительство заслуживает *свою* оппозицию. И вот, правительство Брежнева получило диссидентов, которые настаивают только на одном — чтобы соблюдались хотя бы существующие, хотя бы какие-нибудь законы, чтобы уважались права человека,

уже зафиксированные в авторитетных международных документах, ратифицированных самим правительством.

Политика и мораль, политика и право до сих пор остаются квадратурой круга. Вероятно, их совмещение уходит в даль истории, которая неохватна для ума смертного человека. Но диссиденты в Советском Союзе на аккуратно отграниченном участке защиты человеческих прав задачу решили. В этом, вероятно, их сила.

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

*Анонимный автор*

### ПИСЬМО РУССКОМУ ДРУГУ \*

(Отрывки)

*Белорусский язык...*

*В век научно-технической революции  
не достигнет ли его участь волжского  
диалекта?*

Вашим вопросом взята под сомнение существеннейшая черта моего народа, в котором выражен дух, индивидуальность, и в конечном итоге — жизнестойкость белорусов.

Вопрос о белорусском языке, перенесенный из средневековых, дореволюционных эпох, в известном смысле еще существует. В объеме намного меньшем, нежели существовал он, скажем, сто лет тому назад, когда и белорусский язык, и весь околодесятиmillionный народ, говоривший на нем, объявлялись химерою или "польской интригой" в Северо-западном крае; там по триединой формуле — самодержавие, православие, народность — решалось "русское дело", дело скорейшего превращения тогдашних "западноруссов" в "истинно русских" людей.

На вещей вопрос "посмотрим, что скажут еще сами белорусы" относительно своей самобытности и исторической жизнеспособности, который для угнетаемого и унижаемого народа прозвучал в те мрачные времена голосом искреннего сочувствия и светлой надежды, на этот вопрос мои соотечественники представили и продолжают представлять немало доказательств различного свойства и "калибра", снимая сомнения относительно своего естественно-исторического места в общем предназначении народов и человечества...

---

\* А „Samizdat“ Publications from Soviet Byelorussia, London 1979.

... (Проблема белорусского языка) действительно существует — в остатках ли империяльного мышления, в рецидивах ли империяльной политики — рая и белорусов, не оставляя безучастными и сторонних наблюдателей. В реакции со стороны на современное положение белорусского языка заметно различие во взглядах посещающих БССР украинцев, поляков, чехов, словаков, болгар и *русских*. Первые недоумевают по поводу искусственного сдерживания, вторые — по поводу "искусственного" насаждения белорусского языка в Белоруссии.

В своих сомнениях Вы — не исключение, хотя мне и трудно скрыть досаду, что стереотип о моем родном слове не чужд даже русским просвещенным умам, не исключая тех, кто сегодня болезненно задумывается над возрождением русской идеи. О массовом обывателе, у которого от усердного поклонения золотому тельцу и "литым богам" притупляется чутье к собственным национальным ценностям, говорить не приходится.

В Белоруссии мы являемся свидетелями развернувшейся ассимиляции. Устроители этого духовного кастрирования населения действуют под знаменем интернационализации и неизбежного слияния наций, игнорируя ту элементарную истину, что в будущую единую общечеловеческую семью придут и идут не безъязыкие народы-кастраты, забывшие свои имена и достоинства, а каждый принесет с собой неповторимый букет своего разумения истины и красоты. С какой стати белорусам передавать кому бы то ни было право выражать за них их собственное предназначение на этой планете, тем более, что неоднократные попытки могущественных соседей белорусского народа выразить за него волю и стремления оборачивались нередко в ущерб белорусам, создавая на этом участке цивилизованной Европы "культурное" подобие колониальной Африки...

Разумеется, ассимиляция..., как бы она ни форсировалась, имеет свои пределы, ограничиваемые (пусть и ограниченной) белорусской государственностью, и поэтому она бессильна сдерживать развитие языка и культуры белорусского народа, хотя способна сужать естественные границы этого необратимого процесса, *тормозя и деформируя* его. И хотя "русское дело" в Белоруссии в 1977 году ни по содержанию, ни по форме, ни по своим конечным целям не адекватно своему однофамильцу 1877 г., нас не может не тревожить сам факт существования такового, пусть и в иных, более гуманных формах.

... В раннем средневековье... только ли естественным стремлением полоцко-туровских, витебских, минских, гродненских (не решаюсь добавить: и смоленских) капиталов на Запад и т.п. "материальными" причинами объясняется поведение белорусских князей-"сепаратистов"? Которые, не вняв кровопускательным урокам, и позднее норовили сторониться общей упряжки, заставляя сокрушаться (на сей раз сына Мономаха – Мстислава) тем, что "зане не бяхуть в его воли, не слушахуть его, коли зовяше в русскую землю на помощь на паче молвяху Бонякову, шелудивому во здравие". \*

Причины такой политики коренились, по мнению историка, "в настроениях самого населения", обусловленных, в свою очередь, географией, климатом и иными естественными факторами. \*\*

Только что отмеченные моменты симптоматичны в плане начального своеобразия в развитии этнической самобытности белорусов, обозначившегося, по-видимому, еще до возникновения противодействующих явлений чужеродного свойства (литовцы, немцы, шведы, поляки).

В битве на Неве 1240 г. против шведов и крестоносцев вместе с новгородцами и суздальцами сражались полоцкие воины... В 1262 году в поход против Ливонского ордена "ходиша Ярослав Ярославич и Товтил Полоцкий, Новгородцы и Псковичи, и Полочани под Юрьев, единым приступом три стены взяша, а немцы избиша". \*\*\*

Между тем, древнебелорусское летописание прояснило бы, возможно, предопределенное Богом и Природой живое творческое начало в духе моего народа, которое в последующие не легкие столетия помогло ему сохранить и закрепить свою индивидуальность, предохранив от растворения в литовско-польской стихии, а позднее – от капитуляции перед тотальным обрусением.

Это начало уже в эпоху крушения государственных империй и заката империяльных религий помогло белорусам во всеуслышание заявить о праве "людзьмі звацца". Помогло выжить, от-

---

\* Цит. по: Любавский М.И. Основные моменты истории Белоруссии. М., 1918, с. 11.

\*\* Там же.

\*\*\* Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Т. 1, Мінск 1972, стар. 119.

стаивая завоеванное право, тогда, когда не только дух, но и плоть его оказалась на грани физического истребления. Тем самым — человеческим пеплом Хатыни и 627 Хатыней,\* жизнью каждого четвертого — они, белорусы — окончательно заручились признанием и уважением народов и государств, заняв свое место в Организации Объединенных Наций.

Правда, кое-кто и поныне хотел бы иметь дело с белорусами и даже расточать комплименты по части их мужественного и добродушного нрава за пределами... белорусского языка. Не смущаясь тем, что это был бы взгляд не на живой народ, а на некий этнографический манекен, лишенный души и поэтому безучастный к напяливаемым на него различным "языковым" одеждам. Подход к белорусам как к этнографическому материалу, годящемуся лишь для других, "исторических" народов, столетием раньше мог (по причине "спячки" белорусов) сойти за обыкновенное заблуждение.\*\* Сегодня же вненациональный (внеязыковый) взгляд на этот народ, после представленных им стольких и столь дорогостоящих свидетельств собственной исторической полноценности, трудно не назвать кощунством. И то,

---

\* Хатынь — белорусская деревня в 54 км на северо-восток от Минска; была сожжена немцами 22 марта 1943 г. Во время этой трагедии погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В настоящее время в Хатыни стоит памятник жертвам белорусского народа.

\*\* Можно поэтому снизойти к тогдашнему мнению небезызвестного великорусского патриота, чья историко-философская культура в наших глазах оказывается весьма поколебленной: "Северо-западный край — точно такая же Россия и на точно таких же основаниях как сама Москва" (Данилевский И.А. Россия и Европа). Хотя уже тогда и Северо-западный и Юго-западный края начинают доставлять свидетельства, опровергающие свою русскую "истинность" в московском (великорусском) разумении: "Польские политики прикладывали к Белоруссии и Украине мерку шляхетской республики и католической административной нетерпимости, московские стали применять к ним аршин боярской монархии и нетерпимости православно-обрядовой" (Драгоманов М.П. Собр. полит. соч., т. 1, Париж, 1905, с. 16); "Бросив самый поверхностный и беглый взгляд на прошлое и современное Белоруссии, мы находим в ней весьма поучительные черты, а именно то общее явление, что как энергично ни насаждалась культура в народе, она никак не может привиться, если не соответствует духу народа и если она не прорастает из органической потребности национальной жизни" (Данила Баровик, Письма о Белоруссии, Спб., 1882. — Цит. по: Александрович С.Х. Пуцявіны роднага слова. Мн., 1971, стар. 60).

что признавалось нормой в самодержавной России -- тюрьме народов, в "союзе нерушимом республик свободных, сплоченных навеки великою Русью", можно и должно называть истинным именем: шарлатанством...

Истории не так давно угодно было еще раз -- и теперь с особой пристальностью и суровостью -- взглядеться в лицо белоруса, испытать на прочность дух белорусский: его расстреливали, вешали, сжигали. Выстоял он, пронеся сквозь могильные рвы и дым пепелищ свое слово родное...

Язык, закаленный под пытками варваров "чингис-ханов с телеграфами" (А. Адамович), выжил неужто затем, чтоб исчезнуть в хитросплетениях "просвещенного" молоха? Не думаю.

Научно-технический прогресс несет в себе не одну сплошную унификацию. Дифференциацию, разнообразие -- тоже...

Техническая революция -- не только смерть и гниение. Она также -- рождение и пробуждение. В народе, как и в личности, она усиливает позиции знания, а с ним -- достоинство, гордость, дух творчества, самовыражения и самоутверждения...

От нас с Вами зависит, чему отдать предпочтение.

Нашлось же трое белорусских интеллигентов:\* они вооружились этой самой "НТР", объездили и обошли белорусские села и местечки, записав на магнитофонную ленту воспоминания уцелевших смертников Хатыней и явив современникам и потомкам уникальный исторический и литературный памятник.

Вглядитесь же в лица живых из "вогненных весак", вслушайтесь в их печальную речь, от которой веет не только печалью. Многие поведают Вам эти люди, в том числе и о бессрочном спорте своего языка.

Белорусский народ -- народ, как свидетельствуют дни минувшие и нынешние -- не раб и не нем...

Поначалу польский король норовил достругать мой народ до блеска окатоличенного шляхтича. Затем московский царь-единоверец, исправляя старания своего польского коллеги, "враще-

---

\* Есть, вопреки допущенному вначале огульному утверждению, своя интеллигенция в Белоруссии. Правда, в пропорциях, уступающих количеству кадров с высшим образованием, но способная сообщить народу национально-интеллектуальное ускорение, сдерживать которое не в состоянии самая многочисленная рать чиновников и "генералов".



вал” над израненным белорусским организмом, силясь вдохнуть в него великодержавный дух ”истинного” великорусса. Парадоксальнее всего, что усердия эти проистекали от ”великороссов” с немалой примесью в них германских кровей. Как сказать, не завершилось ли бы ”врачевание” по прусскому образцу испусканием живого духа белорусов, не поспешила бы история на время для ветеринарных усилий российского императора и не прикажи она двуглавному орлу долго жить. Возможно -- не поторопись история -- на сегодняшней 2700-язычной планете одной мовой было бы меньше, а у ”великого и могучего” -- одним диалектом больше...

Польский король старался триста лет с лихвой. Российский царь -- полтораста лет. Почти полтысячелетия мой народ, оставленный и преданный своими высшими и средними слоями, норовили, каждый на свой лад, сделать ”истинным”. Не вышло...

Белорусский народ (вышел), однако, из столь длительной инквизиторской лаборатории духовно надломленным. Почти без своих писателей, историков, философов, художников, композиторов.

Четыреста лет позволялось ему только рожать для более могущественных соседей Костюшек, Мицкевичей, Достоевских. Не позволялось зато передавать детям своим собственный язык, посредством него -- дух и мудрость народа. И вырастали дети, забывшие своих родителей, сменялись поколения, не помнившие уже своего первозданного родства и имени. И сами белорусы уже было основательно засомневались в своей самости, ”явив” почти в центре Европы этнографическую диковинку -- мужицкий народ, именовавший себя ”тутэйшыми”.

Должно быть, значительный ”масштаб совершенства” (И. Гердер) изначально был сообщен этому народу, коль встряхнулся он от духовной спячки и запямятования именно тогда, когда история уже, казалось, завершила в этой части земли поименную инвентаризацию всех народов и государств.

Богушевич, Купала, Колас, Богданович, Тетка, Ядвигин, братья Луцкевичи... Из недр белорусских являются люди и стремятся выразить -- пусть не все одинаково верно и удачно -- идею своего народа, скрытую под его домотканным рубищем. И как раз с *возрождения белорусского языка* начинают они свою великую и нелегкую работу.

Этот язык еще четырьмя столетиями раньше звучал во дворцах литовско-белорусских канцлеров и магнатов, выразил совершеннейшее по тем временам законодательство (Литовский статут), гением Франциска Скорины явил белорусам и всему восточному славянству первый перевод "Библии", содействуя "научению простых людей руского (не смешивать с русским — авт.) языка" и "лепшаму выразумлению люду христианского и посполитого". Этот язык, столь обещающе заявивший о себе во времена Ренессанса, оказывается на несколько веков (ирония геополитик и геокultur?) оттесненным со всех улиц и перекрестков публичной культуры и политики и загоняется в курные крестьянские лачуги. Этот язык в его собственном доме низводят до положения гадкого утенка...

"Не кідайце мовы сваей, каб не умерлі" ("Ради жизни язык свой берегите") — с таким наказом вступили белорусы в XX век, одновременно наверстывая дела эпох минувших, некогда их обошедших, и осуществляя явления новой эпохи...

Судите сами. В 1906 году усилиями небольшой группы мелкошляхетских интеллигентов-белорусов вышли первые газеты на белорусском языке "Наша доля" и "Наша нива", не без раздражения встреченные тогдашней русофильствующей и полонофильствующей публикой как нечто надуманное и противоестественное.\* 70 лет спустя представитель ООН с благодарностью принимает от моих соотечественников 12 томов "Белорускай Савецкай Энцыклапедыі" на хранение в книжных архивах Объединенных Наций. К языкам, ... осваивающим творения

---

\* К тем временам восходят бытующие кое-где и поныне суждения: "Культура русская и культура польская слишком сильны, чтобы допустить возможность образования между ними третьей искусственной культуры — белорусской, не имеющей под собой реальной почвы ни в истории, ни в литературе, ни в жизни" ("Белорусская жизнь", 1911, Но. 20). Этот тезис имел авторитетного предшественника еще в 1867 году: "Дело идет об истреблении полонизма, а белорусы, как будто уже избавленные от опасности, хлопочут не о спасении от польского ига, а о сохранении местных особенностей! Да и есть ли эти особенности?" (Из письма И.С. Аксакова к М.О. Кояловичу. Цит. по: Самбук С.М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине XIX века. Мн., 1976, с. 141). Великоорусскому "молоту" вторила польская "наковальня": "Белорусский народ никогда не имел и не имеет своей литературы. Создала ее польская интеллигенция. Создана она искусственно." ("Правда", Варшава, 1910, на польском языке).

белорусов, недавно прибавился английский язык. Уолтер Мэй, переводчик антологии "Белорусской поэзии", стремился передать английскому читателю "красоту, музыкальность белорусского языка, его искренность и силу, раскрыть источник мужества и непоколебимой веры народа в лучшее будущее, все то, что (он) так полюбил в белорусской поэзии и в белорусах" ("Звезда", 10 октября 1976) ...

Словом, наказ Мацея Бурачка, отца белорусского возрождения, не забыт. Живет и развивается язык белорусский, а с ним — народ Белоруссии. И если кому-то кажется, что это развитие -- к закату, то в таком заблуждении меньше всего повинны белорусы.

Вопрос, с которого началось это письмо, ... отражает определенное отношение к белорусам со стороны. Так уж ведется издавна, — Вы это видели, — что роковое "со стороны" далеко не всегда "угадывало", что для белорусов лучше и что хуже...

Почему и сегодня белорусам приходится тратить немало усилий на расчистку завалов, препятствий с пути развития своего языка, своей культуры?

Исчерпывающие ответы на эти вопросы не по моим силам, как бы ни удлинялось и без того растянувшееся письмо...

Тем не менее, решаюсь привлечь Ваше внимание к одной существенной стороне вопроса, способной, может быть, раскрыть и сам вопрос. А именно: к остаткам "русского дела"... в... суверенной социалистической Белорусской Республике.

\* \* \*

Вот что свидетельствует "Лысая гара", литературный памятник белорусского народного творчества семидесятых годов XX века:

Был час, был век, была эпоха,  
Когда налопавшись в отвал  
Кой-кто уверовал в панчошу —\*  
Надежно-сытый идеал.

Когда в родной столице Минске  
Культурно вскормленный нахал  
Самоуверенно по-свински  
Родную речь мою пинал.

\* Панчоха — чулок.

Когда иной артист народный,  
Не зная двух народных слов,  
За сытый харч "творил" здесь плодно  
К усладе тутошних ослов.

Они давно готовы были,  
Давя с трибуны души крик,  
Добить на нет, свести в могилу  
Купалы-Коласа язык.

Когда бы партия по-русски  
Не укрощала волчью прыть,  
Они и дух наш белорусский  
Живьем не прочь бы проглотить.

Не вижу нужды в более веских доказательствах...

Поэтические обобщения такого накала не вырастают сами по себе. В них — кровотокающая рана белорусов. На тех, которые в начале века, пожелав "людьми зваться", понесли по свету на изможденных плечах "свою кривду". Дети и внуки тех белорусов уже *стали людьми* и потому-то не могут примириться с ущемлением их национального достоинства...

В чем причины ассимиляции? Кто ее непосредственные виновники?...

Зло отчасти — в самой эпохе, позволяющей "панчохе" котируются идеалом высшего порядка. Трудно понять — откуда возникают такие "идеалы", ... но они налицо и чтобы в том убедиться — не обязательно ехать в столицу Белоруссии...

Признаюсь Вам: рассматривая полки и витрины книжных магазинов Москвы, вчитываясь в заголовки русских газет, в чем-то недалеко ушедших от "казенных громкоговорителей" (М.Кольцов), не нахожу картину с моим языком более мрачной нежели нынешняя картина с языком Пушкина, Гоголя, Твардовского, Шолохова. Какая доля из словарного запаса этого языка находится сегодня в общеупотребительном обиходе?..

"Окраинам" не безразлично, с каким багажом жалуется к ним "великий и могучий". Со словами: революция, коммунизм, социализм, коллектив (пусть себе и заимствованными), или со словами и словосочетаниями: блат, бронь (билет на поезд, в театр и т.д.), дефицит (почти во всем), очередь (почти за всем, за

водкой -- в особенности), бардак (почти везде), в долгу не останусь (намек на взятку) и бессчетным множеством т.п. вкroppившихся в жизнь и быт белорусов (только ли их?). Куда печальнее, когда развитый и великий язык становится средством для целей отнюдь не великих, причем не обязательно в руках русских.

Так, недавно они приняли закон БССР о народном образовании, записав в нем, что учащимся средней школы предоставляется возможность обучения на родном языке или на языке другого народа СССР, а родители имеют право выбирать для детей по желанию школу с соответствующим языком обучения. А вот политика, действующая "по закону": "Открывая широкие возможности для изучения белорусского и русского языков, мы считаем *непозволительным* какие-либо шаги, создающие предпочтительные условия для любого из них, подчеркивающие приоритет того или другого". \*

Стоит Вам заглянуть в Белоруссию, чтобы убедиться в том, как справедливая буква закона и внешне безобидные слова "политика о равенстве обоих языков" оборачиваются на практике "равенством" Красной Шапочки и Серого волка, как резко сокращается количество школ с белорусским языком обучения, как учащиеся повально ("по желанию родителей") стремятся освободиться от изучения родного языка, а если и принуждаются к изучению (кто-то же должен, коль существует Белоруссия, изучать и белорусский...), то "изучают" его со всей изобретательностью усвоения не ахти любимых предметов.

На следующей ступени учащегося будут, скажем, в Бобруйске, учить палехскому промыслу, но не традиционной белорусской росписи, еще выше -- учить проектному и строительному делу главным образом в ракурсе железа и бетона, в век НТР действительно "безнациональных". Таким образом вырастают художники, готовые зарабатывать, но не способные творить. Появляются проектировщики, обделенные чувством национального своеобразия, не способные подняться выше фантазии обитателей города Глухова.

К примеру, белорусские глуповцы хотя и не Волгу "толоком замесили", зато живую Немигу засыпали песком и укатали ас-

---

\* Кузьмин А., Интернациональное воспитание... -- "Полит.самообраз.", 1977, № 2, с. 42.

фальтом, снеся заодно единственный в Минске старинный квартал — сердце древнего города. На сим месте ныне царствует роскошный пустырь. Со временем, говорят, он украсится не менее роскошными торговыми рядами (непренменно "самыми-самыми"). И наша бедная историческими достопримечательностями белорусская столица обогатится, наконец, уникальным сооружением — памятником Головоотяпству НТР-ской эпохи...

Живопись, скульптура, графика, плакат, музыка, кино, хореографическое искусство, словом, состояние всей белорусской культуры нельзя понять вне проблемы белорусского языка.

Что же в том предосудительного, спросите Вы, если люди охотнее предпочитают русский язык — белорусскому? Как же можно не считаться с желаниями людей? Но в том-то и суть проблемы — кошунственная суть, -- что внешние и случайные (привнесенные многолетними неблагоприятными обстоятельствами) признаки выдаются порой за естественное волеизъявление.

Следуя такой сомнительной логике можно было, к примеру, и в 1922 году внять настроению слущкого крестьянина, отказывавшегося поддерживать школу в его деревне лишь на том основании, что там "молиться не учат, а некую белорусскую моду вводят"\* ...

Буревестники революции, — выступавшие в первые годы советской власти против "искусственного насаждения" белорусской национальности,\*\* в сердцах, видимо, считали себя правыми, полагаясь на тогдашнее настроение усредненного белоруса, еще не совсем очнувшегося от четырехсотлетней спячки.

---

\* Колас Якуб. Збор творау. Т. II, Минск, 1976, стар. 34.

\*\* "Мы считаем, — писал секретарь Северо-западного комитета РКП(б) В. Кнорин, — что белорусы не являются нацией и что те этнографические особенности, которые их отделяют от русских, должны быть изжиты" ("Звезда, 6.X.18 г.). На XI съезде партии наркому И. Сталину пришлось специально останавливаться на заблуждениях национальных нигилистов, противящихся самоопределению белорусской нации (см. XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963, с. 213). Кто победил бы тогда в споре — пессимисты или оптимисты — сказать трудно, не выйдя к тому времени "мужицкий язык" из-под соломенных стрех на бурлящие перекрестки эпохи. Белорусское движение той поры вместе со своими героями еще дождетсa достойного внимания и уважения потомков.

Буревестникам светлого будущего еще предстояло усвоить элементарный урок истории, что ни соединение пролетариев всех стран, ни установление всемирного братства народов не мыслимы над национальностями и тем более — вопреки им. Жизнь вскоре заставит их признать, что революция — если не сводить ее к обыкновенному политическому перевороту — не преподносится народу в качестве подарка; она совершается *самим* народом сообразно его историческому опыту и духу.

Только на этой основе белорусы... (могут) как бы заново создавать и самих себя: людей со своим именем, языком, со своей культурой...

Из 60 лет советской власти отнимите 20 лет на территориальную расчлененность белорусского организма, 7 лет на две войны, вдоль и поперек перепахавших этот край, лет 10 — на послевоенную нормализацию (проблемы куска хлеба и крыши над головой). Остается всего лишь 20 с небольшим лет, да и те не лишены крайностей или обыкновенного авантюризма в национальной политике.

За столь короткий срок стало возможным понастроить в Белоруссии заводов и городов, осушить болота (перестарались, говорят, и здесь, сводя местами осушение к иссушению)... Но не успелось — и не могло успеться — завершить национальное возрождение, высшим проявлением можно было бы считать постижение народом *всеобщей языковой культуры* и национальной культуры в целом. Когда белорусская речь в форме литературного языка *вернулась бы* (уже не в дворцы канцлеров и магнатов) в кабинеты судей и политиков, в залы заседаний, в детские сады, школьные классы и студенческие аудитории, в театры и клубы (не только и не столько на сцену), на улицы и площади городов и поселков. Словом, когда она из орнаментального украшения превратится в *живую ткань* общественной жизни, а звучание белорусского слова в троллейбусе, в магазине белорусской столицы будет восприниматься так же естественно, как сегодня воспринимается здесь испорченный русский язык, который, в самом деле, скорее напоминает диалект нежели оригинальный язык...

Трудно сказать, когда придет поколение белорусов, окончательно излечившихся от комплекса языковой неполноценности, от своеобразной национальной стыдливости. Но формирование этого поколения — уже сегодня живая реальность...

Политики, допущенные к этому необратимому процессу, могут его ускорять или замедлять (чаще, к сожалению, они предпочитают последнее), но не в состоянии "преодолеть" его внутреннюю логику даже с помощью вводимых законов, открывающих путь к... беззаконию.

"Охранителям" равенства прав обоих языков в Белоруссии почему-то невдомек, что сие "равенство" *на неравных* исходных возможностях того и другого и что более сильному больше предоставляется ... привилегий.\* Им, всерьез, видимо, считающим себя марксистами-ленинцами, невдомек, что после многовековых преследований, сильно затормозивших и деформировавших развитие белорусского языка, следует прежде всего устранить *фактическое неравенство* – огромные историко-культурные диспропорции в уровне обоих языков, словом, обеспечить "выравнивание уровней"...

Некоторым "законодателям" 30-х годов, отмеченных тотальным наступлением на юные, еще не окрепшие силы белорусской интеллигенции (Гарзцкі, Ігнатоускі, Александровіч, Шчакацін, Галавач, Чарот...) тоже было, видимо, невдомек, что их р-р-революционное наступление на "буржуазный национализм" в социалистической Белоруссии не далеко отошло от самой махровой контрреволюции, прикрывающей грязную работу красным стягом. И что через каких-нибудь двадцать лет время реабилитирует жертвы, хотя (пока) не назовет истинным именем инициаторов и исполнителей "нероновщины XX века". Белорусская культура еще не скоро оправится от кровопускания над первым поколением ее интеллигенции, брошенного в пасть угольно-золотых разработок Крайнего Севера и Восточной Сибири...

Отметим по ходу, что на русском языке был составлен договор 1864 года о повешении в Вильне Кастуся Калиновского – первого белорусского интеллигента и революционера. Этот же язык сопутствовал шельмованию и "пуску в расход" (еще одно словосочетание) Калиновских нового времени. Дело, разуме-

---

\* Например, в БССР из 88 журналов 58 выходят на русском языке, 30 – на белорусском. На Украине соотношение (соответственно): 185 : 75 : : 108. Лишены белорусы, в отличие от украинцев, своего исторического журнала, "Иностранной Литературы" и т.д.



ется, не в языке, а в конкретных носителях его. Потому-то я и не могу не привлечь Ваше внимание: в мой край язык братского народа приходит не только в образе мятежной лиры Лермонтова и боготворящей грусти Чехова. Но также — в обличе самовольного, непререкаемого "не п...потерплю", заглушающего нередко наше родное мягкое "калі ласка". И сегодня под пресловутое "не п-п-потерплю" (в условиях НТР стало возможным серийное производство уникального органика градоначальника Бурдастого) в Белоруссии продолжается охота за "националистами", хотя, — надо отдать справедливость, — способами более демократическими. Нынешние "охотники" научились обходиться без кровопусканий. Со временем, можно надеяться, они набьют оскомину и на духовных репрессиях, когда официальными обличениями убивается истина ("давя с трибуны души крик").

...Развитию родного языка и не только — могла бы значительно содействовать белорусская интеллигенция. Но та сама, как Вы знаете, страдает недугом безъязыкости. В этом ее и вина и беда. В этом, может быть, одна из острейших проблем белорусской национальной жизни...

Где же выход? ... Он в создании подлинно равных (хотя бы равных, коль "непозволительны" льготы) условий обоим языкам.

Что же происходит на практике? После 400-летнего изгнания нашему родному языку позволили, наконец, существовать рядом с русским, однако на условиях, чем-то напоминающих условия приживальщика (на своей собственной земле!): он вытеснен из сферы дошкольного (город), отчасти — школьного, профессионального, среднего специального, высшего воспитания и образования; не позволили ему закрепиться ни в партийном, ни в советском аппарате, обслуживающем всю официальную жизнь Республики.\*

---

\* Между тем, когда юная революция и в этом направлении сделала было первый и, как оказалось, последний шаг, ставя задачу "далеешага паглыблення і пашырэння беларусізацыі у партыйным і савецкім апаратае", выдвигая не менее благородный лозунг: "каб уся КП(б)Б загаварыла на беларускай мове" (XI з'езд Камуністычнай Партыі (большавікоу) Беларусі, Мінск, 1928, стар. 424). Сегодня белорусская парторганизация — единственная, пожалуй, из всех республиканских п/о, не жалуемая свою родную речь на заседаниях, совещаниях, бюро,

... И все же возможности денационализации белорусской интеллигенции не беспредельны. О бесперспективности отмеченного явления можно судить по глубинным тенденциям как самого белорусского общества, так и сопредельных с ним народов — поляков, украинцев, литовцев, латышей; всего современного человечества.

... Никто не склонен приуменьшать значения других социальных слоев белорусского общества в довершении национального возрождения. Можно, однако, предположить, что возрастание роли рабочих, специалистов, чиновников, профессиональных военных и т.п. в этом процессе во многом обусловлено усвоением ими высших ценностей национальной культуры и в первую очередь литературного языка.

... Многие говорят за то, что завтрашний день явит нам нечто вроде единого национального фронта. ... И тогда мой народ, окончательно познав и осознав свою собственную идею, тот самый "масштаб совершенства" и став полновластным хозяином в своем доме, вряд ли позволит напяливать на себя без надобности иноязычные одежды. Так как осуществить свое предназначение ему возможно и удобнее будет в своей исконной, белорусской...

Я не могу не надеяться на понимание и поддержку русскими друзьями сегодняшних стремлений белорусов, частично обозначенных в этом письме ... в полном согласии с пониманием всеславянского единства его непревзойденными выразителями:

"Было бы очень прискорбно, если бы, например, подражая политике канцлера Бисмарка, мы поставили вопрос о наших окраинах на почву принудительного и прямолинейного обрусения".\*

XI.1976 – IV.1977 гг.

---

пленумах, сессиях, собраниях. Не думаю, чтобы и эта "интернационалистская" черта долго оставалась нерушимой. В частных беседах и в "урезать — так урезать" и здесь начинают все чаще отводить душу родным, незаменимым словом.

\* Соловьев Вл. Национальный вопрос в России, Спб., 1888, с. 106.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНСТИТУЦИИ БССР

14 апреля 1978 года Верховный Совет СССР принял очередную конституцию Белорусского государства. Конституция эта несколько отличается от конституций других союзных республик. Так, например, в конституции БССР говорится, что *"в результате созидательной деятельности советского народа под руководством коммунистической партии в СССР построено развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы; установились прочные социалистические общественные отношения, неуклонно повышается благосостояние и культура народа, сложился и укрепился союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, сформировалась новая историческая общность людей — советский народ"* (подчеркнуто автором — Ф.С.).

Иначе говоря, в результате деятельности советского народа — сформировался... советский народ. Утверждение это не лишено оригинальности. Ведь всем известно, с какой тщательностью обдумывается каждая формулировка основного закона государства! Но в данном случае авторы конституции, по-видимому, считали, что сначала был советский народ, который занимался созидательной деятельностью, но не очень охотно, а потому понадобилось руководство компартии, чтобы уже существующий советский народ мог создать "новую историческую общность людей — советский народ". И все это содержится в одном предложении Введения к конституции Белорусского государства.

Что же касается белорусской нации, то она-то и является составной частью этой новой исторической общности. Во Введении к конституции БССР говорится: "Народ БССР сознает себя неотъемлемой частью всего советского народа и сохраняет идеи конституций БССР 1919-го, 1927-го и 1937-го годов".

Роль конституции в жизни общества огромна. Но только тогда, когда конституция действительно отражает стремление

общества и его граждан к свободе, к гарантии прав человека и старается четко определить правила человеческого общежития. Конституция — это закон. Но когда юристы формулируют законы с учетом их пропагандистского эффекта, возникает несколько странная картина. А когда конституция свидетельствует о том, что составители ее не только игнорируют исторические факты, но и искаженно трактуют историю нации, эта странная картина становится печальной.

Белорусская государственность получила признание в XX веке вследствие энергичных усилий самих белорусов, которым на протяжении их длительной истории отказывали в праве на национальное и государственное существование. В настоящее же время в статье 1 первой главы новой конституции БССР хотя и *говорится* о белорусском государстве, но государство это вовсе не определяется как государство белорусов. В этой статье БССР рассматривается как общенародное государство, выражающее волю и интересы трудящихся республики всех *национальностей*. В этом данная статья конституции БССР отличается от аналогичной 1-й статьи конституции РСФСР, ибо в конституции РСФСР говорится о том, что РСФСР есть республика, выражающая волю и интересы трудящихся всех *наций и народностей* республики. В случае РСФСР такое заявление обосновано, так как РСФСР — *многонациональная федерация*. Напомним, что по советской терминологии, нации и народности — это коллективы людей, имеющие определенную государственно-административную организацию: союзную республику, автономную республику, округ и т.п. Но в Белоруссии с точки зрения государственно-административной на своей исторической родине проживает только *белорусская нация*. И Белоруссия вовсе *не представляет собой многонациональную федерацию*. Таким образом, Белорусское государство — это национальное государство белорусов, а люди других национальностей, проживающие на территории Белоруссии, представляют собой на этой территории *национальные меньшинства*. Поэтому к ним относятся статьи 31 и 32 Конституции БССР о гражданстве и равных правах всех граждан СССР, а не статья первая.

Во Введении к конституции БССР говорится, что рабочие и крестьяне Белоруссии с помощью русского пролетариата впервые в истории обрели свою государственность и образовали БССР.

В Советском Союзе напечатано много работ о возникновении белорусской государственности и о том, как в прошлом проявлялось желание белорусской нации создать свое национальное государство. А потому и в Советском Союзе не секрет, что правительство Ленина и его партия после октября 1917 года всячески оттягивали признание белорусов нацией и признание Белорусского государства. Белорусская государственность и белорусская нация утвердились не благодаря коммунистам России, но вопреки их воле; только сила белорусского национального сознания и выражавшего это сознание национального движения заставила большевиков России признать право белорусов на национальное и государственное существование. И уж при чем тут русский пролетариат — совершенно не ясно.

Но, может быть, сами составители конституции БССР не знали, что в течение всего 1918 года большевики старались уничтожить национальное сознание белорусов и подавить выражавшее это сознание национальное движение? Может быть, составители конституции не знали и того, что в ночь с 17 на 18 декабря 1917 года большевики разогнали "Белорусский съезд", в котором принимало участие 1175 делегатов с правом решающего голоса. Съезд был разогнан после того, как на нем был обсужден вопрос о праве белорусского народа на самостоятельное национальное государственное существование и была принята резолюция о создании органа краевой власти "в лице Всебелорусского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и республиканского строя". И поскольку к этому краевому съезду советов должна была перейти в Белоруссии государственная власть, правительство Ленина предпочло забыть о своих торжественных декларациях о праве наций на самоопределение и образование самостоятельных национальных государств, декларациях, адресованных нациям, угнетавшимся в бывшей Российской империи, и повести себя так, как вела себя власть имперская, защищая "единую и неделимую". На смену праву наций на самоопределение пришел т.н. классовый принцип, и власть руководствовалась только им. Стремление белорусов к национальной независимости, сформулированное в решении "Белорусского съезда", было подавлено силой и подавлено большевиками советской России. Небезынтересно отметить, что даже в советской историографии, посвященной возникновению бело-

русской национальной государственности, меры, принятые против делегатов "Белорусского съезда", выразившего волю нации, увязываются с принятым несколько позже постановлением ВЦИКа от 3 января 1918 года.\* Подписано это постановление было Лениным, и в нем говорилось, что

" Вся власть в Российской республике (в то время в нее входила и Белоруссия — Ф.С.) принадлежит советам и советским учреждениям и что всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе какие-либо функции государственной власти будут рассматриваться как контрреволюция и будут подавлены" (В.И. Ленин, Сочинения, т. XXVI, стр. 389, 4-е издание).

...

Разгон "Белорусского съезда" — это практическое осуществление девиза "держать и не пущать", это практическое сведение к нулю всех обещаний о том, что после революции с национальным гнетом в России будет покончено.

Большевистские советы принимали постановления и о том, что Белоруссия — неотделимая часть России. Еще в конце 1918 года Кнорин — один из ведущих коммунистов, действовавших на территории Белоруссии, писал, что "белорусы не являются нацией". И писал это российский коммунист Кнорин уже после того, как в марте 1918 года белорусы создали свою национальную, но не большевистскую республику.

В конце концов, и большевики вынуждены были согласиться с правом на национальное и государственное существование белорусов. И напомним, что только 25 декабря 1918 года ЦК РКП(б) послал телеграмму тогдашнему руководителю большевиков в Белоруссии Мясникову, в которой говорилось:

"ЦК партии по многочисленным причинам, о которых он сейчас не будет распространяться, принял решение со-

---

\* В.А. Круталевич, Рождение Белорусской Советской Республики, изд. "Наука и техника", Минск, 1975, стр. 126-137.

гласиться с белорусскими товарищами и учредить белорусское советское правительство”.\*

Но прошло еще некоторое время до того, как российские большевики признали белорусскую государственность и белорусскую нацию. В этих решениях ЦК РКП(б) заслуги русского пролетариата в деле создания белорусской государственности и белорусской нации не упоминается. К чему же нужно было говорить об этом в новой конституции БССР?

---

\* М.С. Куличенко, "Борьба коммунистической партии за решение национального вопроса в 1918-1920 гг.", Харьков, 1964, стр. 53.

## ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

*Зденек Млинарж*

### ПЕРЕД МОСКОВСКИМ ТРИБУНАЛОМ

(Отрывок из книги "Холодом веет от Кремля") \*

Я вылетел в Москву через несколько дней после оккупации. Во-первых, находившийся в Москве Дубчек захотел, чтобы я принял участие в переговорах в Кремле, а, во-вторых, меня уполномочило присутствовать на этих переговорах политбюро ЦК КПЧ, избранное на съезде в Высочанах.<sup>1</sup>

В Москву я летел вместе с представителями старого партийного руководства -- со Швесткой, Ленартом, Якешем, Барбиреком и Риго. Кольдер остался в Праге, в оккупированном советскими частями здании ЦК. Антонин Капек где-то скрывался; он тогда, кажется, уехал из Праги. Члены секретариата -- Цисарж, Садовский, Славик, Эрбан и Воленик -- в Москву приглашены не были, а остальные члены дубчеховского руководства КПЧ уже находились в Кремле. Некоторые прибыли в Москву, сопровождая Людвика Свободу, а некоторые накануне переговоров просто получили новый статус -- я имею в виду тех, кого силой, как пленных, увезли советские военные самолеты и кого позже держали под охраной гебешников в Карпатских горах, в каких-то засекреченных объектах.

Летели мы в Москву на военном самолете; в нем, кроме нас, было несколько офицеров. Были там еще киноленты в ящиках -- заснятые советскими операторами кадры первых оккупационных дней в Праге. Мы сидели молча, говорить было не о чем -- каждый знал, как вели себя в первые дни оккупации остальные. И вот 25 августа 1968 года, в воскресенье, около девяти часов утра по московскому времени наш самолет приземлился на Внуковоском аэродроме, неподалеку от Москвы. "Чайки" от-

\* Zdeněk Mlynář „Mráz přichází z Kremlu“, Index, 1978.



везли нас на Ленинские горы — в правительственные особняки, которые расположены всего лишь в нескольких сотнях метров от московского университета.

После тринадцати лет перерыва я увидел панораму Москвы, которая в студенческие годы была фоном моей повседневной жизни. В Праге эта хорошо знакомая картина ассоциировалась с добрыми для меня студенческими временами. Теперь она снова стала явью. Но я отчетливо помнил, что всего лишь несколько часов полета отделяло меня от оккупированной Праги. Передо мной, в сиянии раннего солнца, лежала Москва, — такая же, как в прошлом; но эту панораму перекрывали картины пражских улиц, на которых со зловеще вытянутыми жерлами пушек стояли танки и солдаты-автоматчики.

На этот раз я был не в Москве своей молодости, а в столице державы-оккупанта. Вместо сокурсников, вокруг вертелись — почтительно, но в то же время настороженно, — сотрудники КГБ, кто в штатском, а кто в мундирах. Абсурдность этих минут проявляла абсурд моего прошлого. Меня охватило страстное желание вообще не быть. Но я жил, и более того, мне предстояло, вместе с другими, думать о том, что станет с нашей страной, какое еще абсурдное решение последует за прежними.

Я прибыл в Кремль. В одном из залов уже собрались сопровождавшие Свободу лица. Но кроме них, там были Черник — на этот раз как председатель правительства, Смрковский, Шпачек и Шимон. Отсутствовали Дубчек, Кригель и Йиндра. Я привез с собой из Праги всевозможные материалы — газеты, листовки, сообщения избранного в Высочанах партийного руководства — а для прежде арестованных руководителей у меня были и личные письма: некоторые от сотрудников, а некоторые от родных.

Были еще письма для Дубчека и Свободы от президиума съезда в Высочанах. С Дубчеком я хотел встретиться в первую очередь. Людвик Свобода сказал, что Дубчек лежит, принять участие в переговорах не может, но что меня к нему проведут. Дубчек находился в одной из комнат Кремля, предоставленных Свободы и сопровождавшим его лицам. Свобода провел меня через две смежные комнаты и открыл двери.

Дубчек лежал в постели под одеялом; было жарко и одеяло было несколько спущено. Дубчек был полуодет; он лежал не-

подвижно, по всей вероятности, под действием успокоительно-го. На лбу у Дубчека была небольшая, заклеенная пластырем ранка, выражение лица у него было отсутствующее, как у одурманенного наркотиками человека. Но когда я вошел, Дубчек очнулся, приоткрыл глаза и улыбнулся. В этот момент я вспомнил святого Себастьяна, который улыбался под пыткой. У Дубчека было такое же мученическое выражение лица, а лучами разбежавшиеся по подушке от его головы линии напоминали ореол. Я подошел и погладил его по лицу. Дубчек говорил прерывисто и бессвязно. Он сказал, что не в состоянии сейчас же прочитать письма и попросил положить их ему под подушку. Я удовлетворил его просьбу, но попытался объяснить кое-что устно. Дубчек был даже слушать не в силах. Я посидел несколько минут на его постели и вышел.

Дубчек находился в состоянии тяжелого нервного потрясения. Ранку на лбу он получил от удара об умывальник, когда поскользнулся в ванной. Пользовал его личный врач президента Свободы. После обеда состояние Дубчека несколько улучшилось, с ним встретились Черник и Смирковский. Мне же удалось переговорить с ним лишь на следующий день, незадолго перед тем, как мы приступили к официальной части переговоров — к подписанию так называемого московского протокола.

В коллективных переговорах и обсуждениях при подготовке текста этого протокола Дубчек участия не принимал.

В переговорах не участвовал и Франтишек Кригель. В те дни его вообще не было в Кремле. Позже стало известно, что советское руководство старалось не допустить Кригеля к переговорам; более того, советское руководство хотело воспрепятствовать возвращению Кригеля в Прагу. Но об этом речь впереди.

Отсутствовал во время переговоров и Алоиз Йиндра. Он был болен и лежал где-то вне Кремля, вероятно, в больнице. Ходили слухи, что у него был приступ синдрома Меньера — весьма характерная для того времени болезнь, симптом ее — потеря равновесия. У Йиндры, однако, независимо от болезни, были все основания чувствовать себя неуверенно; он действительно не знал, наверху ли он или внизу. Было лишь бесспорно, что с рабоче-крестьянским правительством<sup>2</sup> покончено.

Отсутствовали при обсуждении текста московского протокола еще два члена правительства — министры Дзюр и Кучера.

В переговорах принимало участие политбюро ЦК, а, — кроме членов политбюро, — Людвик Свобода и Густав Гусак. Как мы увидим, то, что происходило в Кремле, вообще трудно назвать переговорами. Вплоть до подписания протокола вечером 26 августа у политбюро ЦК КПЧ не было равного партнера. От советской стороны выступали отдельные лица, предлагавшие различные проекты текста как ультиматум. Причины такого поведения советской стороны совершенно ясны. Целью СССР было не обсуждение, а утверждение продиктованных условий капитуляции. Ведь еще опыт переговоров в Чиерне на Тиссе<sup>3</sup> показал, что даже длительные переговоры достижению поставленной советской стороной цели не способствуют.

У чехословацкой же стороны, — за исключением совещания ночью 25 августа, — единой точки зрения не было. Партийное руководство разделилось на тех, кто хотел сформировать "рабоче-крестьянское правительство", и тех, кого это правительство должно было посадить на скамьи подсудимых. Было ясно заранее, что группа, которая согласилась создать рабоче-крестьянское правительство, согласится на все, что внесет московское руководство в текст заключительного протокола. Поэтому в том, чтобы переговоры с Москвой все-таки состоялись, была заинтересована лишь вторая часть дубчековского руководства — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — а также, конечно, Свобода и Гусак, которые в то время не были связаны ни с одной из групп.

Когда утром 25 августа я прибыл в Кремль, кое-что уже было согласовано. (Я не знаю подробностей, как проходили переговоры до моего приезда, кто принимал в них участие и кто какую позицию занимал. Так что когда я говорю о переговорах, то имею в виду совещания, состоявшиеся 25 и 26 августа). Решены были уже три важных вопроса. Первый из них был решен в пользу группы Дубчека: была отвергнута альтернатива формирования нового руководства, состав которого отличался бы от существовавшего до 20 августа 1968 года. В этом важнейшем пункте, иначе говоря, советская сторона смирилась с поражением. Однако другие два вопроса были решены в пользу Москвы: был аннулирован XIV съезд партии в Высочанах; кроме того, чехословацкие представители согласились, чтобы обсуждение ситуации в Чехословакии было снято с повестки дня Совета

безопасности ООН. Мне думается, что Смирковский, Шпачек и Шимон подключились к переговорам уже после того, как по этим двум вопросам решение было принято. В обсуждении их участвовали Людвик Свобода и сопровождавшие его лица, а также Дубчек и Черник.

Вернувшись из комнаты Дубчека, я информировал присутствующих о положении в Чехословакии, или, говоря точнее, я высказал свою точку зрения по поводу создавшегося в стране положения. Вот короткое содержание моего выступления: всенародное пассивное сопротивление ввергло оккупационную власть в кризис; она не в состоянии контролировать события — если, разумеется, не применит для подавления гражданского населения вооруженную силу. После съезда в Высочанах КПЧ пользуется большим авторитетом, парламент и правительство признали съезд в Высочанах и осудили оккупацию. Все это стабилизирует положение органов власти, которые оккупанты пытались, но не смогли разрушить. В то же время положение в стране неустойчиво, и это чревато опасностями. Достаточно нескольких маленьких провокаций и может произойти взрыв. Оккупационная власть начнет нервничать, и ни одной из сторон не удастся удержать создавшуюся ситуацию в желательных рамках. Все ждут, что окончательное решение будет принято здесь, в Кремле. Дубчек, Свобода, Черник и Смирковский пользуются огромным авторитетом. И если они будут едины при переговорах в Кремле, достигнутое в Москве соглашение будет принято преобладающим большинством населения Чехословакии. Однако, неотъемлемой частью достигнутого компромисса должна быть гарантия ухода иностранных войск из Чехословакии, — по возможности, с указанием срока. Кроме того, соглашение должно гарантировать, что чехословацкая политика будет и в дальнейшем соответствовать Программе действий КПЧ. Далее я подробно рассказал, какую роль в эти дни сыграли радио и печать, а также об условиях, в которых радио и печать работают. Я роздал присутствующим наглядно документировавшие положение в стране изданные в Чехословакии газеты и листовки.

Присутствующие задавали много вопросов, обсуждались самые различные проблемы. Если я не ошибаюсь, больше всех из недавно прибывших в Москву говорили Швестка и Ленарт. Однако они подчеркивали не размах всенародного сопротивления,

а опасность, которая будет угрожать стране, если принятие решения затянется. Они говорили о том, что государственные органы должны сотрудничать по практическим вопросам с органами оккупационной власти, что отсутствие такого сотрудничества может привести к нежелательным конфликтам с населением и т.д. и т.п. В общем же они не предлагали своего политического решения и не возражали против того, чтобы отвод оккупационных войск и подтверждение линии Программы действий КПЧ стали для продолжения переговоров в Москве обязательным условием. О необходимости "братской помощи в борьбе с контрреволюцией" и о том, что соответствующая Программе действий КПЧ политика -- это проявление "правого оппортунизма", ими тогда не было сказано ни слова.

Позже, в частной беседе, я коротко информировал Черника, Смрковского, Шпачека и Шимона о том, как Биляк, Йиндра, Якеш и другие пытались сформировать правительство в советском посольстве в Праге, и чем это кончилось. А я узнал от своих собеседников, что с ними случилось после того, как мы виделись в последний раз в кабинете Дубчека 21 августа 1968 года. Мы договорились также о совместных действиях на предстоявших переговорах и, естественно, о том, что все мы будем с Дубчеком, как только он сможет принять участие в переговорах.

Черник сказал мне позже, что нам следовало бы подготовить материал для заключительного заседания и как можно раньше представить его советскому политбюро. У него уже был черновик текста, мы обсудили его с остальными. Потом мы с Богумилом Шимоном начали составлять окончательный текст. После обеда я надиктовал его русский перевод кремлевской машинистке.

Содержание нашего проекта фактически представляло собой измененный вариант той позиции, которую политбюро ЦК КПЧ заняло в июле 1968 года по поводу варшавского письма пяти стран, которые впоследствии оккупировали Чехословакию. Правда, некоторые аргументы и общий тон текста мы изменили, поскольку изменилась ситуация: были отмечены некоторые отрицательные явления; мы признали и то, что политическое давление снизу несколько вышло за рамки ожиданий политического руководства. Но и на этот раз мы отказывались признать, что события в Чехословакии до оккупации были "контрреволю-

щей”. Напротив, мы подчеркивали социалистический и демократический характер всенародного движения. Мы допускали, что положение в Чехословакии могло вызвать озабоченность пяти соседних стран, что руководство КПЧ этого недооценило. Но в интервенции мы видели трагическую ошибку, шаг, который не может ничего репить, а потому считали, что войска всех пяти государств должны быть из Чехословакии выведены. Только при этом условии последующее реформистское развитие Чехословакии может проходить в соответствии с общими интересами всех социалистических государств. В качестве возможной отправной точки мы ссылались на документы совещания в Братиславе. В отношении внутренней политики подчеркивалось, что Программа действий КПЧ — это основной документ, который должен определять линию компартии Чехословакии и в будущем. Если я не ошибаюсь, текст нашего нового предложения перешел советскому политбюро Ольдржих Черник.

Советское политбюро было возмущено. Нам было сказано, что предложение выглядит как ультиматум, а что наша делегация должна понять, что ее положение не позволяет ей выступать с ультимативными требованиями. Чтобы подкрепить этот тезис, советская сторона представила свой проект. И вот этот проект, действительно, звучал как ультиматум. На основе советского проекта и был составлен подписанный позже текст “московского протокола”. Вначале его отвергли все члены чехословацкой делегации. Его не поддержали даже члены промосковской группы. О том, что чехословацкая сторона не согласна с проектом, советскому политбюро сообщил Смрковский.

Я уже точно не помню, сколько раз и из-за каких формулировок возвращались к нам различные варианты текста, сколько раз они перерабатывались. Различные формулировки текста два, а иногда и три, члена нашей делегации передавали с нашими замечаниями одному-двум представителям советской стороны. А те либо были, либо не были уполномочены высказать свою точку зрения. И в зависимости от этого, либо сразу, либо через некоторое время возвращали наши варианты или замечания, в большинстве случаев отказываясь принять. От чехословацкой стороны в этой процедуре участвовали Черник, Смрковский, Швестка, Ленарт, Шимон и я. Партнерами от советской стороны были Косыгин, Сулов, Пономарев. Шимон и я встречались с Пономаревым.

Остальные во время этой бумажной войны занимались кто чем. В течение дня с некоторыми членами нашей делегации встречались Брежнев и Косыгин. О том, что делали представители промосковской группы чехословацкого руководства Биляк, Якеш и др., я не имел никакого представления, да тогда это меня и не интересовало. Я был занят формулировкой различных проектов и замечаний и поэтому почти не присутствовал в зале, где проходило так называемое "коллективное обсуждение". Чаще всего, в этом зале находилась лишь небольшая часть делегации. Разбившись на маленькие группы, присутствующие обсуждали самые разнообразные вопросы.

К вечеру, когда советское политбюро окончательно отвергло наше предложение как недопустимый "ультиматум", обсуждался уже только советский вариант. Первоначальный советский текст отличался от подписанного позднее, главным образом, тремя моментами: в нем говорилось, что военная интервенция была обоснованной; в нем не упоминалось об отводе из Чехословакии советских войск; наконец, первоначальный советский вариант не признавал линию КПЧ правильной. Напротив, поскольку там говорилось о необходимости аннулировать XIV съезд КПЧ и сместить некоторых деятелей (в частности, Кригеля, Цисаржа, Шика, министра внутренних дел Павела и министра иностранных дел Гайека), создавалось впечатление, что реформистская политика КПЧ осуждается целиком и полностью. На изменении текста именно этих трех пунктов и сосредоточилось длительное обсуждение документа.

Промосковская группа в дубчеховском руководстве КПЧ вела себя в основном пассивно. Такое поведение, с ее точки зрения, было разумно: эти люди знали, что разговорами ничего не изменишь. Поэтому никто из промосковской группы не поддерживал первоначальный текст советского предложения и не препятствовал стараниям нашей делегации внести изменения. Сами же они не выдвигали предложений, выжидая только, чем закончится словесная дуэль. Зато активно старались уговорить нашу делегацию принять советские предложения Людвик Свобода и Густав Гусак, которые тогда в партийное руководство не входили. Свобода несколько упрощал, но все же, уговаривая нас, искренне боялся, что каждый час оттягивания решения увеличивает опасность столкновения между оккупационными войсками

и населением Чехословакии. Гусак же, напротив, старался лишь угодить советским представителям. Обсуждение XIV съезда в Высочанах он сводил к единственному — съезд необходимо аннулировать, так как в нем не участвовали делегаты Словакии.

Мне думается, что Людвик Свобода определил свою позицию уже 21 августа и с того момента от нее не отступал. Свобода не был политиком-реформистом, не был, собственно говоря, политиком вообще. Он был солдат, офицер армии Первой Чехословацкой республики,<sup>4</sup> который по случайному стечению обстоятельств стал командиром чехословацкой части, которая сформировалась во время Второй мировой войны в СССР и сражалась на стороне советских войск. Вероятно, уже тогда, во время войны, Свобода стал сторонником союза Чехословакии с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда Свобода, до 1948 года, был министром обороны чехословацкого правительства, формально он оставался беспартийным, на деле же он представлял не только КПЧ, но ярко выраженную просоветскую ориентацию, а сторонники ее не утруждали себя чрезмерными размышлениями о государственном суверенитете в отношениях с СССР. У него было двумерное мышление. Все воспринималось с чисто военной точки зрения: либо с советской армией, либо против нее. Он больше был просоветским солдатом, чем коммунистом. Доктрины коммунистической идеологии и тоталитарная практика коммунистов были ему, скорее всего, чужды, но в необходимости безоговорочной просоветской ориентации Чехословакии он был убежден.

В этих категориях Свобода и анализировал, вероятно, создавшееся в августе 1968 г. положение. Эти категории делали его мышление близким мышлению советских маршалов, для которых проблемы демократии существовали постольку, поскольку они касались их соображений о стратегическом господстве над территорией, на которой расположена Чехословакия. Людвик Свобода не возражал, чтобы на этой территории стратегически господствовал СССР, и это — ключ к его политической позиции. Когда в марте 1968 г. Свобода был избран президентом Чехословакии, он возложил венок на могилу Масарика,<sup>5</sup> и очень может быть, что он сделал это, чувствуя известную симпатию к основателю чехословацкого государства.



Став президентом, Свобода, вероятно, предпочитал больше походить на своих довоенных предшественников, чем на Новотного. И если бы дело не дошло до военной интервенции, он и в дальнейшем выступал бы за развитие демократии в Чехословакии. Но как только он оказался перед дилеммой — подчиниться ориентации на Советский Союз или нет, он по-солдатски однозначно выбрал Москву.

Ночью 22 августа Свобода сообщил мне о своей поездке в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, но он тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, и все будет в порядке. Тогда это заявление показалось мне непонятным и противоречивым. Но после того, как я наблюдал Свободу в Кремле, никакой загадки для меня не осталось. С точки зрения самого Свободы, в его позиции вообще не было никакого противоречия. Противоречивой она могла показаться лишь тому, для кого интересы демократической реформы в Чехословакии были выше интересов советских маршалов. А поскольку Свобода принимал или отвергал демократическую реформу в зависимости от того, насколько она соответствовала военным концепциям советских маршалов, противоречие исчезало. Свобода был против похищения и убийства государственных деятелей. Но он не возражал, чтобы неугодные Москве политики были отстранены от дел более цивилизованным образом — например, отставкой. Свобода не был сторонником интервенции со всеми вытекающими из нее последствиями, он хотел воспрепятствовать применению варварских методов и кровопролитию.

Во время переговоров в Кремле Свобода вдруг начал кричать членам дубчечковского политбюро: "Вы все болтаете и болтаете! Вы уже доболтались до оккупации страны! Так хотя бы сейчас ведите себя соответственно и действуйте. Я видел за свою жизнь горы трупов и не допущу, чтобы из-за вашей болтовни погибли тысячи!"

Опасность кровопролития не была плодом горячечного возбуждения Свободы. В письме, посланном ему президиумом съезда в Высочанах, президиумом Национального собрания и правительством, которое я ему привез, говорилось: "Очень серьезный и опасный фактор представляет собой растущая усталость и нервное истощение как оккупационных войск, так и на-

шего населения”. Авторы этого письма выше всего ставили интересы демократического развития в Чехословакии, а потому предлагали Свободе прервать московские переговоры, вместе с Дубчеком и Черником вернуться в Прагу, стабилизировать положение, проконсультроваться дома и лишь после этого вернуться к переговорам.

Позиция Людвика Свободы была иной: он хотел как можно быстрее вернуться домой, но с соглашением в кармане, покончив тем самым с неопределенностью. В Москве Свобода встречался не только с Брежневым, но и с маршалами. В отличие от тех, кто писал ему письма из Праги, он, вероятно, не очень обольщался насчет своего собственного положения. Свобода знал, что при всем своем желании он сможет вернуться в Прагу лишь после того, как подпишет соглашение, — вернее, диктат Кремля. Внутренне он этому не противился; он из Чехословакии уехал, отчетливо понимая, как ему придется поступить. Он думал, что разговоры о сопротивлении были бессмысленной болтовней политиков.

Что же касается уверенности Свободы, что в данной обстановке человеческие жертвы были бы напрасны, то, как я уже писал в начале главы, и я ее разделял. Этими возможными жертвами, тысячами погибших, Свобода постоянно угрожал нашей делегации во время переговоров в Кремле, торопя нас придти к соглашению. И ему было совершенно безразлично, какие возможности оставит КПЧ текст протокола. Тем самым Свобода служил и советским интересам. И все же я отказываюсь ставить знак равенства между Людвиком Свободой и людьми типа Билляка, Йиндры, Якеша и др., которые, будучи сторонниками тоталитарной диктатуры, тайно подготавливали военную интервенцию, или между Свободой и людьми типа Гусака, который сразу же перешел на сторону интервентов ради реализации своих личных амбиций, ради власти. Мотивы Свободы были иными. Лично я не могу согласиться с ними. Я не разделял их тогда, не разделяю их и сейчас. Я просто пытаюсь понять его, но не оправдать.

По-моему, проблема Людвика Свободы вовсе не в том, что в решающую минуту он предал демократические реформы ”Пражской весны”. Дело просто в том, что во время ”Пражской весны” главой государства оказался человек, ничего общего с

демократической политикой не имевший. Во время "Пражской весны" главой правительства стал наш старый чехословацкий маршал, суждения которого в чем-то напоминали маршалов из Москвы. Чехословакия — не держава, а потому и у нашего маршала не было агрессивного великодержавного аппетита; напротив, как маленький маршал, он по-солдатски подчинился маршалам большим, с которыми давно и прочно связал свою судьбу.

В августе 1968 года Москва использовала Людвика Свободу в своих целях. В последующие годы, — вместе с гусаковским руководством КПЧ, — она им злоупотребила. Свобода запутался в паутине политики "нормализации" и сыграл тогда унижительную роль статиста. Все это оказалось возможным только благодаря его примитивному просоветскому мышлению, его старости и тщеславию, типичному для многих вояк, причем не только вояк по профессии, но и по характеру. Народу было за него стыдно, а власть имущим — как в Праге, так и в Москве — он стал в тягость. И в 1975 году Свобода навсегда сходит с политической сцены.

В те же дни московских переговоров начал свою крупную политическую игру Густав Гусак. Ставкой была наивысшая должность в КПЧ. Тогда, правда, Гусак поддерживал два основных требования реформистского крыла партийного руководства: включить в заключительный протокол гарантии ухода иностранных войск с территории Чехословакии и подтвердить в тексте протокола правильность линии Программы действий КПЧ. Но он последовательно и настойчиво защищал советское требование признать недействительным XIV съезд КПЧ в Высочанах. Этот вопрос, как я уже говорил, был предварительно согласован еще до моего приезда. Но несмотря на это, съезд в Высочанах снова стал предметом обсуждения; во время переговоров стороны пытались найти политически более подходящее, компромиссное решение.

Я сам старался найти какой-то компромисс. Мне казалось абсурдным, что соглашение с московским политбюро может аннулировать XIV съезд КПЧ, который сыграл в Чехословакии такую важную роль. Ведь он не только укрепил позицию КПЧ среди населения, но и спас жизни и должности арестованных членов дубчеховского руководства. К тому же я приехал в Москву от имени партийного руководства, избранного этим съездом, и

это меня обязывало. Правда, я не был членом политбюро, избранного новым ЦК КПЧ в Высочанах. Но членами его были Дубчек, Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и Гусак. Формально именно эти люди должны были защищать (или, напротив, осудить) позицию съезда в Высочанах. Но они на съезде не присутствовали, они не имели никакого представления об атмосфере съезда и о надеждах тех, кто там, в Чехословакии, представлял тогда КПЧ. А я помнил лица людей, которых я видел на заводах ЧКД, я отчетливо представлял, что бы они сказали о проекте документа, который перечеркнет, осудит их деятельность в первые дни советской оккупации.

Смрковский, Шпачек и Шимон прибыли в Кремль уже после того, как чехословацкая делегация предварительно согласилась аннулировать XIV съезд, но они пытались снова вынести этот вопрос на повестку дня. Им было невозможно отказаться от результатов съезда, который спас им жизнь. Поэтому проблема съезда обсуждалась снова и снова; снова и снова делались попытки найти иное, компромиссное решение. Наконец, начал вырисовываться вариант возможного компромисса: признать действительными выборы нового ЦК КПЧ. В таком решении было весьма заинтересовано московское политбюро, которое ссылалось на заявление самого XIV съезда о том, что выборы ЦК не окончательны, поскольку работа съезда еще не была завершена. Мы же рассуждали так: в ближайшее время, — тогда предполагалось, что это произойдет в течение двух месяцев, — после отвода советских войск из ЧССР, съезд соберется снова, пересмотрит свои решения и будет избран новый ЦК. До этого в состав старого ЦК и его политбюро будут кооптированы члены ЦК, избранного на съезде в Высочанах, которые обеспечат численное превосходство сторонников реформ. Поэтому в заключительном московском протоколе нужно было так сформулировать утверждение о недействительности XIV съезда, чтобы осталась открытой возможность осуществить этот план. И мы этого добились: принятое в Москве компромиссное решение было проведено в жизнь на заседании Пленума ЦК КПЧ, которое состоялось 31 августа 1968 года сразу после возвращения дубчековского руководства из Москвы.

По всей вероятности, Гусак обещал советскому политбюро добиться от чехословацкой делегации признания XIV съезда

КПЧ недействительным. Его действия осложнили достижение компромисса. Но в конце концов и Гусак согласился. Для этого у него были серьезные основания: Гусак не был прежде членом ЦК, а съезд в Высочанах избрал его и в ЦК, и в политбюро. Принятие компромиссного решения обеспечивало Гусаку членство в этих органах. Исходя из интересов своей личной карьеры, Гусак рассчитывал вначале на другой вариант: он надеялся, что на съезде компартии Словакии (КПС) его выберут на должность первого секретаря и тогда он уже не будет зависеть от постановлений съезда в Высочанах. Он звонил из Москвы в Братиславу, прося отложить съезд компартии Словакии, который был назначен на 26 августа, до возвращения чехословацкой делегации из Москвы. Его сторонники обещали выполнить эту просьбу. В момент моего приезда в Москву Гусак был убежден, что съезд в Братиславе не заседает. Я сказал ему, что он ошибается, что мне точно известно, что словацкий съезд начнется завтра, и он наверняка утвердит работу высочанского съезда. На съезд в Словакии была направлена делегация высочанского съезда. Я сообщил Гусаку и состав этой делегации, который был утвержден еще до моего отъезда в Москву. Выслушав меня, Гусак самоуверенно и презрительно улыбнулся. Он смотрел на меня как на дефективного ребенка, который понятия не имеет, как делается политика, и с апломбом назвал все это чепухой: съезд в Братиславе не состоится, в этом он уверен. И вообще только от него зависит, будет съезд или нет.

Но к вечеру Гусак, вероятно, уже знал, что съезд в Братиславе начнет свою работу на следующий день. И поэтому пройдет без него. Это несколько поколебало его самоуверенность. Он начал склоняться к решению, которое позволило бы назначить некоторых избранных на высочанском съезде деятелей на ключевые партийные должности, так как только это могло привести к власти и его. Но к тому же Гусаку удалось осуществить и свой первоначальный план: съезд КП Словакии начал свою работу 26 августа, но уже 27 на нем присутствовал Гусак. Там ему удалось провести резолюцию об отмене высочанского съезда, выполнив тем самым данные Москве обещания. Более того, будучи избранным первым секретарем компартии Словакии, Гусак автоматически, независимо от выборов высочанского съезда, стал членом политбюро всей КПЧ.

Но в первый день работы, когда еще Гусак отсутствовал, словацкий съезд, как и съезд в Высочанах, принял резолюцию, которая осудила интервенцию.

Во время переговоров в Кремле Гусак выступал как соратник и союзник Дубчека, Свободы и Черника. Главным образом — прямо и косвенно — он поддерживал Свободу. В отношении Гусака к Смирковскому уже тогда была заметна определенная сдержанность. Шпачек, Шимон или я вообще не были для него достаточно значительными фигурами. Поэтому к нам он никак не относился. В те дни Гусак не присоединялся и к промосковской группе, т.е. к своим нынешним компаньонам по власти Биляку, Йиндре, Якешу и др. Советскому политбюро он понравился. Перед нашим отлетом из Москвы Косыгин сказал мне: "Товарищ Гусак такой способный товарищ, замечательный коммунист. Мы его раньше не знали, но он произвел на нас очень хорошее впечатление".

Я никогда не обольщался иллюзиями в отношении Гусака. Я познакомился с ним поздно, лишь в марте 1968 года, когда мы оба были сотрудниками Академии наук — он в Братиславе, я в Праге. Тогда, на одном из совещаний исследовательской группы, которой я руководил и которая занималась проблемой развития политической системы в Чехословакии, рассматривался вопрос государственно-правового упорядочения национальных отношений между чехами и словаками. В этом совещании принял участие и Густав Гусак.

В то время я уже много слышал о нем — как от его друзей, так и от врагов. Поэтому я ожидал встретить амбициозного политика, стремящегося вернуться в круг власть имущих. Но действительность превзошла все мои ожидания. На заседании группы, где все мы привыкли говорить по существу, откровенно, с терпимостью к разным взглядам, Гусак выступил как политический лидер, дающий указания и благосклонно разъясняющий неполноценным людям "правильную линию". По содержанию его выступление было крайне консервативно. Он повторял затертые фразы из работы Ленина "Государство и революция", смысл которых давно уже был отброшен в политической практике Советского Союза и других стран советского блока. Гусак старательно отгораживался от всех идей плюралистического, демократического понимания политической системы социализ-

ма. В области национальных отношений Гусак требовал федерализации государства. Он выступал как человек, который все знает. Местами его выступление было грубо, местами демагогично.

В конце совещания, подводя итоги работы, я сказал, что выступление Гусака годилось бы для митинга, но что мыслей оно не содержало. Гусак с трудом скрыл злобу; у меня появился враг.

Впечатление, которое он на меня тогда произвел, было настолько неблагоприятным, что сблизиться с ним мне совершенно не хотелось.

Его отношение было мне безразлично.

До войны Гусак, по образованию юрист, принадлежал к словацкой коммунистической интеллигенции. Он работал в подполье и свою главную роль сыграл в словацком национальном восстании в августе 1944 года. С того времени началась особая, противоречивая эволюция Гусака и как политика, и как человека. Можно говорить о личной трагедии Гусака, но гораздо серьезнее трагедия народа, которым, из-за поддержки извне, он правит вот уже десять лет.

Гусак — политик сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ, линию которой он проводил и методами которой он пользовался. Однако, с другой стороны, Гусак — личность-самородок. Он гораздо талантливее большинства этой гвардии. У него были свои взгляды и убеждения, — в первую очередь по вопросу Словакии, — а потому он неизбежно вступал с этой гвардией в конфликт. Это основное противоречие красной нитью проходит через всю политическую деятельность Гусака.

Во время войны, находясь в словацком коммунистическом подполье, Гусак выступал как носитель официальных в то время взглядов Коминтерна. Так, например, Густав Гусак предлагал Готвальду после войны присоединить Словакию к СССР как союзную республику, ссылаясь при этом на невысказанное желание большинства словацкого народа. Гусак огульно называл чехов, оставшихся в Словакии во времена словацкого фашистского государства, группой коллаборационистов; он говорил, что участвовавшие в движении сопротивления евреи ненадежны, и настаивал, чтобы они были изолированы. Сталинское мышление, согласно которому определенная классовая, национальная или религиозная группа может подпасть под подозрение,

а затем быть дискриминирована как целое, столь же типично для Гусака, как и для всей сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ.

В послевоенные годы, до его ареста в 1951 году, Гусак был одним из самых талантливых и активных проводников сталинской политики. После выборов 1946 года он стал председателем Собрания уполномоченных в Словакии. Коммунисты Словакии проиграли в то время выборы. Методы, которые применяет Гусак в те годы, послужили прообразом тактики КПЧ в масштабах всей страны в феврале 1948 года для захвата власти независимо от результатов голосования. Гусак, не колеблясь, дискредитировал и натравливал друг на друга своих политических противников – существовавшую в то время Демократическую партию и католическую церковь. Как председатель Собрания уполномоченных, Гусак принимал активное участие в провокациях, организованных органами государственной безопасности и направленными против некоммунистических политиков и духовных лиц. Нельзя отрицать, что некоторые лица из рядов антикоммунистической оппозиции в Словакии были в то время связаны с католическими политиками фашистского толка. Однако Гусак, прибегая к полицейским провокациям, создавал впечатление, будто *все* некоммунистические политические течения представляли непосредственную опасность для демократического чехословацкого государства. Он не рассчитывал получить большинство голосов на демократических выборах, а поэтому старался захватить ключевые позиции путем кабинетной политики, провокаций и насилия.

И все же Гусак-сталинист отличается от других сталинистов Братиславы и Праги. Он действительно озабочен, чтобы словацкие национальные интересы не ущемлялись пражским центром. Кроме того, Гусак – не типичный аппаратчик, т.к. сила аппарата зиждется на посредственности и анонимности работников. Он, скорее, предпочитает интеллигентное манипулирование, осуществляемое способной, квалифицированной правящей элитой. Поэтому для тех, кому Гусак помог захватить власть, для государственного и партийного аппарата, для политической полиции он так и не стал своим. Гусак для них – инородное тело, индивидуалист, амбициозный человек, которого, однако, побаиваются. В аппарате его называли ”коммунистом-барнином”. Эта



аттестация на разные лады повторялась официальной партийной пропагандой, когда Гусак был в тюрьме, и позже, при Новотном, когда Гусак был уже на свободе. Несмотря на то, что он содействовал победе сталинизма в Чехословакии, Гусак оказался его жертвой, так как другие сталинисты видели в нем опасно талантливую личность, а сторонники пражского централизма — опасного защитника словацких национальных интересов.

В сущности, Гусак — неудачник. В период словацкого национального восстания он, отказавшись от прежних своих планов присоединить Словакию к СССР, помог вернуть Словакию в единое чехословацкое государство. Он надеялся, что Словакия — а тем самым и он как словацкий политик — получит возможность удовлетворять свои интересы. Но в итоге в стране была создана диктатура центра, вступившая в противоречие с интересами общества вообще, а тем самым с интересами Словакии. В период с 1945 по 1951 гг. Гусак делал все для укрепления власти КПЧ, а тем самым и своей собственной власти. Но его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Диктаторы, которым так активно помогал Гусак, исключили его из круга высоких чиновников, они боялись его как опасного конкурента.

Арест Гусака был в значительной степени следствием его личного конфликта с Широкиим, который в готвальдовском, а позже и в новотновском политбюро представлял то направление сталинистов, которое требовало безропотного подчинения словацких интересов диктатуре центра. В пятидесятые годы Гусак и Широкий были соперниками. Думаю, что если бы тогда победил Гусак, он бросил бы в тюрьму Широкого, не испытывая при этом угрызений совести. Но факт остается фактом: арестован был Гусак. Его осудили за "преступления", которых он не совершал. Десять лет он был узником сталинских, а позже новотновских тюрем.

В 1963 году Гусака реабилитировали. Новотный предложил ему, как и Смирковскому, вернуться к политической деятельности. Он мог стать заместителем министра финансов. Гусак отказался. Я не был тогда знаком с Гусаком, но думаю, что поступил он так по двум причинам. Гусак понял, и понял верно, что Новотный хочет перевести его из Словакии в Прагу, чтобы ото-

рвать от политического тыла. Кроме того, в политическом плане должность заместителя министра финансов была для Гусака чересчур незначительна. Мне думается, что Гусак уже в то время делал ставку на серьезные изменения в стране, надеясь сыграть в будущем более важную политическую роль.

В тюрьме Гусак несколько изменился, но, в основном, остался самим собой. Он на собственном опыте увидел, как поступает режим коммунистической диктатуры с теми, кого выбрасывает на свалку. Но себя самого Гусак не относил к вышвырнутым навсегда и "за дело". Напротив, он вышел из тюрьмы с твердым убеждением, что ему "по праву" положено место на Олимпе. Ведь он всегда защищал коммунизм, интересы рабочего класса в Словакии, ведь он способнее тех, кто правит сейчас. Он наверняка думал, что режим нужно изменить. Однако представления Гусака о необходимых переменах были обусловлены его прошлой политической деятельностью. К тому же на протяжении многих лет он был изолирован от того, что происходило в стране. Выйдя из тюрьмы, Гусак остался сильной личностью, но демократом не стал. Он был убежден в своей миссии, стремился устранить от власти бесталанных, чтобы показать им, что такое настоящий политик.

Мне думается, что потребность самореализации неразрывно связана у Гусака со сферой политики и власти. Он убежден в своем призвании указать правильный путь. Мирослав Кусый, один из ведущих коммунистов-реформистов Словакии, рассказывал мне об одной встрече с Гусаком. Это было утром 21 августа 1968 года перед зданием ЦК в Братиславе. Вокруг двигались танки. Это были первые часы оккупации. Тогда, под грохот танков, Гусак произнес: "Я выведу народ из этой катастрофы". Нечто подобное в такие минуты мог сказать лишь человек, глубоко верящий в свою миссию.

После 1963 года Гусак, по собственной инициативе, встречался со многими коммунистами-реформистами в Братиславе и Праге. На протяжении нескольких лет Гусак выступал с острой критикой Антонина Новотного, умело собирая вокруг себя оппозиционно настроенных людей.

Многие влиятельные коммунисты-реформисты стали видеть в нем возможную альтернативу, смену Новотному. Сам Новотный все больше и больше боялся Гусака, старался ограничить его по-

литическое влияние. Он по любому поводу дискриминировал его. Но снова бросить Гусака в тюрьму Новотный уже не мог. Напротив, преследования со стороны Новотного еще больше способствовали росту популярности Гусака. Гусак умело использовал и это.

После смещения Новотного Дубчек с Черником и Кольдером подбирали состав нового руководства. Никому из них не хотелось включить Гусака в партийную верхушку. На должность секретаря компартии Словакии Дубчек назначил Биляка — тогда Дубчек считал его своим товарищем. Поэтому даже в Братиславе у Гусака не было никаких перспектив. Он снова оказался в явном проигрыше и должен был удовлетвориться должностью заместителя председателя правительства.

”Пражскую весну” Гусак воспринял как временное явление. Окончательное соотношение сил должно было — считал он тогда — определиться в будущем. Положение его не было легким. Попытки радикальных реформ, которые вели к политическому плюрализму, он считал несостоятельными, неосуществимыми. В личных беседах он называл коммунистов-реформистов, — главным образом, из кругов пражской интеллигенции, — ”могильщиками процесса возрождения”. Дубчек и некоторые другие члены партийного руководства выглядели в его глазах наивными дилетантами в политике, которых он явно превосходит талантом и политическим реализмом. У него не было, как мне кажется, чрезмерных иллюзий в отношении великодержавной политики СССР. Гусак знал из собственного опыта, что советская армия не поддержала словацкого национального восстания, поскольку оно не соответствовало стратегическим замыслам Сталина. Но тем более — и как убежденный коммунист, и как политик-реалист — он считал необходимым избежать конфликта с Москвой. В случае же возникновения такого конфликта Гусак заранее был готов на компромисс. При таких взглядах он не мог найти поддержки у реформистов, а просоветская и сталинская клика в КПЧ сама избегала союза с ним. Поэтому Гусаку никак не удавалось подняться на верхние ступеньки иерархической лестницы. В конце концов Гусак вынужден был присоединиться к радикальным течениям, представители которых требовали дальнейших персональных изменений.

Но для этого ему пришлось замаскироваться и скрывать свои подлинные убеждения.

В шестидесятые годы и в период "Пражской весны" многие коммунисты-реформисты видели в Гусаке политического союзника, а некоторые — и личного друга. Для Гусака же эти люди были необходимым, но не лучшим орудием для осуществления собственных мессианистских представлений и связанных с этими представлениями амбиций. Многие из этих людей разобрались в Гусаке слишком поздно, лишь после 1969 года, когда Гусак наконец-то поднялся на самую высшую ступеньку власти.

Наиболее показателен случай с историком Миланом Гиблом, который в 1968 году был ректором Высшей партийной школы ЦК КПЧ. В последние годы правления Новотного Гибл делал все возможное, чтобы Гусака не только реабилитировали, но и вернули на политическую арену. Он поддерживал Гусака в его выступлениях против Новотного, и за это в 1965 году Новотный выгнал Гибла с работы. Еще в апреле 1969 года, когда Гусак сменил Дубчека на посту Генерального секретаря ЦК КПЧ, будучи убежден, что Гусак — самый подходящий политик для осуществления "кадаризации", для защиты остатков реформ 1968 года, Гибл активно помогал ему заручиться поддержкой реформистов в ЦК. А в 1972 году Гибла арестовали, и Гусак хладнокровно позволил приговорить Гибла к шести с половиной годам тюрьмы за "подрывную деятельность против республики". Гибл же все время выступал за сохранение хотя бы некоторых реформ, старался собрать вокруг себя реформистов, своих единомышленников, обращался за поддержкой к коммунистическим партиям Италии и Франции. Гусак, сам несправедливо осужденный в прошлом, продержал Гибла в тюрьме вплоть до конца 1976 года, хотя ему было хорошо известно, за что арестовали Гибла, насколько унижительно и опасно для здоровья Гибла заключение.

Прийдя к власти, Гусак расправился почти со всеми, кто помог ему вернуться к политической деятельности и занять высшую партийную должность. Более того, он связал свою судьбу с людьми, которых презирал и считал бездарными слугами Новотного — прежде всего с Василием Биляком. Правда, Гусак оказался во власти обстоятельств: он стал первым человеком

партии, когда удержаться на этой должности мог лишь верный лакей Кремля. А Кремль требовал ликвидации прежних друзей Гусака и возвращения к власти его многолетних личных врагов. Получая свой пост по милости Москвы, Гусак должен был знать об этом заранее. Он гораздо умнее своих нынешних коллег по политбюро. Он прекрасно понимал, как ему придется действовать. Всю жизнь он мечтал вскарабкаться на самую высокую ступень власти. И когда такая возможность представилась, Гусак не устоял. Он отказался от своих прежних убеждений, согласился заплатить полную цену за право стоять во главе оккупированного государства.

После того, как в мае 1969 года московское политбюро назначило Гусака на высшую должность в КПЧ, в Чехословакии казалось, что положение несколько улучшилось. Было известно, что Гусак — не советский агент. Напротив, поскольку в шестидесятые годы он был связан с реформистами, люди надеялись, что ему удастся "предотвратить трагедию". Им казалось, что Гусак представляет центр. В Чехословакии этому верили довольно долго, на Западе же журналисты думают так до сих пор. До сегодняшнего дня они пишут о Гусаке как о человеке, который не допускает эксцессов. В действительности такие утверждения ни на чем не основаны. Гусак проводит политику, угодную Кремлю, и если иногда создается впечатление, что дело не доходит до крайностей, то только потому, что этого не желают в Кремле. В самой КПЧ, в аппарате ЦК и других партийных группировках у Гусака не было и нет поддержки. Он не принадлежит ни к группе так называемого здорового ядра КПЧ, то есть к тем, кто в 1968 году хотел советской оккупации и способствовал ей; его нельзя отнести и к прагматикам в партийном и государственном аппарате. Он держится на милости Кремля. В этом его сила, но в этом же и его слабость. Гусак есть и будет всего лишь советским наместником в Чехословакии, которого, если возникнет необходимость, кремлевские патроны безжалостно устроят.

Весьма вероятно, что тогда, в Кремле, в августе 1968 года, Гусак сам не вполне предвидел, какой режим сложится в Чехословакии под его властью. Я не думаю, что Гусак хотел ликвидировать треть членов КПЧ как "пособников контрреволюции". Гусак, вероятно, не представлял тогда, что Биляк, которого он презирал, станет его главной опорой. И все же уже тогда Гусак

совершенно сознательно вступил на путь, который привел его к вершинам власти и в партии, и в государстве; уже тогда Гусак готовился принести в жертву своим амбициям реформы "Пражской весны".

Так вот, поздним вечером 25 августа, в отсутствие Дубчека и Кригеля, пять сторонников демократических реформ — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — столкнулись с семью представителями промосковской группы (Биляк, Якеш, Швестка, Пиллер, Ленарт, Барбирек, Рижо). Восьмой из этой группы — Алоиз Йиндра — тоже отсутствовал. Мы все еще пытались внести некоторые исправления в советский проект заключительного документа, старались сберечь хоть некоторый простор для осуществления реформ. На нас постоянно сыпались окрики Людвика Свободы и Густава Гусака. Все это наблюдали министры Дзюр и Кучера, посол Чехословакии в Москве Владимир Коуцкий. Они не вмешивались в обсуждение, но явно были на стороне тех, кто готов был подписать советское предложение без каких-либо оговорок.

Во время обсуждения протокола советское политбюро постоянно оказывало давление на чехословацкую сторону. В основном это делалось путем сепаратных переговоров с отдельными членами чехословацкой делегации, когда угрозы чередовались уговорами и обещаниями. Советские обещания, которые давались в таких частных беседах, вызывали у некоторых делегатов иллюзию, будто именно они могут заручиться советской поддержкой. Давление советской стороны определяло атмосферу переговоров. Над нами постоянно висели две очень серьезные угрозы.

Во-первых, нам дали понять, что мы не выйдем из Кремля, пока не подпишем советский ультиматум, — пусть и с некоторыми изменениями. Советская сторона не скрывала этого; напротив, несколько раз было сказано: не подпишете завтра, подпишете через неделю. И не было сомнений, что Кремль свою угрозу осуществит. У шести членов политбюро, которых привезли как арестантов, имелись на этот счет весьма наглядные представления. Они уже пережили допросы инквизиции; им показали орудия пыток. Я говорю это буквально, а не образно. Мне известно, что каждый из них уже прощался с жизнью. Это, правда, придает силу, так как после первого страха перед смертью наступает

примирение с судьбой. Но психологически состояние резко меняется, когда, вместо неизбежного конца, перед человеком снова открываются ворота в жизнь. Когда самоубийцу спасают, он ведь тоже не сразу повторяет свою попытку.

С чисто человеческой точки зрения, положение некоторых членов дубчеховского руководства было похоже скорее на положение людей, которых шантажируют гангстеры, чем на положение правительственной делегации на международных переговорах. Но не это главное. Главное то, что знали мы все: по некоторым принципиальным вопросам Кремль не уступит, даже если расплачиваться за это придется бессмысленным кровопролитием в Чехословакии. Такова была вторая угроза, которую мы слышали не только от Свободы, но и во время прямых контактов членов нашей делегации с советскими представителями. Если вспыхнет конфликт, — говорили нам, — то советским войскам приказано применить против населения Чехословакии оружие. Мы ведь должны понять, что сейчас, то есть пока хотя бы в общих чертах не достигнута договоренность, они уступить не могут. И если все откладывается и задерживается, то это наша вина, только мы несем ответственность за жизнь гражданского населения Чехословакии.

Легко утверждать задним числом, что Москва не пошла бы на драконовские меры, а если бы пошла, то это было бы чревато для нее катастрофическими международными последствиями. Легко рассуждать, что народам Чехословакии открытый конфликт принес бы историческую и нравственную победу, что они противопоставили бы тогда цепи капитуляций в своей истории акт героического сопротивления могущественному агрессору и выпрямили бы спину. Мы и тогда обдумывали эти аргументы. Но все же трудно было взять на себя ответственность за решение, чреватое кровавой бойней. У нас не было даже гарантии, что бойни не произойдет еще до того, как мы, в Кремле, придем к соглашению. Ведь отступление от первоначального плана, попытка Кремля договориться с теми, кого по идее предполагалось судить "контрреволюционным трибуналом", — это был максимум, достигнутый пассивным сопротивлением народа. Но если бы переговоры в Москве провалились, у Кремля не осталось бы выхода. Он вынужден был бы вернуться к своему первоначальному плану и проводить его в жизнь с еще большей жестоко-

стью. Нелепо надеяться, что разбойник, сила которого в угрозе оружием, не применит это оружие, если окажется в затруднительном положении и поймет, что другого выхода у него нет. А советское политбюро не было неопытным в разбое новичком. Сталинская традиция массовых преступлений, как и Будапешт 1956 года, — живое тому доказательство.

Разумеется, и для Москвы установление в Чехословакии оккупационного режима, а тем самым доведение агрессии до всех логических ее последствий, было в политическом отношении не самым удачным исходом. Но уже решившиеся на военную оккупацию силы, при определенных обстоятельствах, могли пойти и на это. Такое решение не требовало даже согласия политбюро ЦК КПСС: достаточно, чтобы за него выступили "ястребы" в генералитете. В их власти было начать бойню, свалить ответственность за нее на "волнения", вызванные "контрреволюцией" и чехословацкими гражданами.

Мы знали, конечно, что советское руководство, оказавшись вынужденным вести переговоры с Дубчеком, стремилось провести руками самого Дубчека и других реформистов те меры, которые невозможно было осуществить посредством Биляка и Йиндры. Но насколько им это удастся, зависело хотя бы отчасти от тех, кого Москва пыталась использовать как орудие. Палка, которой хотела воспользоваться Москва, была о двух концах. Перед нами снова открывались определенные политические возможности. Путь компромисса давал нам известные шансы, а как ими воспользоваться — зависело уже от нас самих. Даже если надежда была невелика, все же открывалась реальная политическая перспектива. И если мы хотели предотвратить кровавую бойню, спасая при этом хотя бы часть реформ, мы должны были пойти на этот компромисс. Так, по крайней мере, мы считали тогда, в Кремле.

Ни для кого не было тайной, что советское политбюро не было едино, когда решался вопрос о военном вмешательстве. Поэтому мы рассчитывали на то, что провал военных методов укрепит позицию тех, кто в свое время не соглашался на применение силы. Политический компромисс с Москвой во всех отношениях был бы выгоден Кремлю, но такой компромисс вовсе еще не означал автоматического сведения на нет политики реформ в Чехословакии: требования "ястребов" можно удовлетворить



размещением незначительного контингента советских войск — прежде всего стратегических частей — при условии, что эти войска не будут вмешиваться в политику КПЧ, то есть, в политику проведения реформ, пусть и в меньших масштабах. Таким образом, мы рассчитывали, что сможем приступить к своего рода "кадаризации" в максимально благоприятных условиях — без кровопролития, без ссылки наших людей в Сибирь, без репрессий со стороны полиции, без тоталитарной диктатуры.

Приблизительно так рассуждали мы все — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я. Но у каждого, кроме того, были и свои соображения. Различной была и степень нашего оптимизма относительно будущего Чехословакии. Всем нам было ясно, что желаемое часто принимается нами за действительность, что мы склонны видеть лучшую из существующих возможностей. Во время дискуссий мы высказывали свои сомнения вслух; мы подсмеивались над своей верой, а время от времени то один, то другой теряли всякую веру. Я помню, как несколько раз, совершенно неожиданно, в каком-то провидении, — без каких-либо логических взаимосвязей, — мне вдруг начинало казаться, что все наши рассуждения бессмысленны, что мы в чем-то себя обманываем, а правда очень проста: мы подписываем капитуляцию, отречение, и народ дома назовет это изменой. Тогда в Кремле в один из таких моментов я сказал Смрковскому (кажется, при этом присутствовали Шпачек и Шимон), что для меня лично эти переговоры оказались полезны лишь в одном: я понял Эмиля Гаху.<sup>6</sup> Никто не возмутился; Гаху тогда, наверняка, вспоминали все. Но некоторые отворачивались от собственных сомнений энергичнее, упорнее других. Кажется, первым решил подписать советский ультиматум Черник.

Это серьезно сузило обсуждение различных альтернатив. Было ясно, что промосковское большинство участников переговоров, а вместе с ними министры Дзюр и Кучера и посол Чехословакии в Москве Коуцкий подпишут ультиматум в любом виде. Затем ультиматум подпишут Свобода и Гусак. И как только стало ясно, что ультиматум подпишет и Черник, советской стороне оставалось убедить только Дубчека. Без подписи Смрковского положение осталось бы для нее довольно затруднительным, но, с политической точки зрения, все же терпимым. С этой же, политической точки зрения, подписи Шпачека, Шимона, Кри-

геля и моя значили не так уж много. Это гирька, которая не перетянула бы чашу весов.

Позиция Дубчека оставалась, однако, неизменной вплоть до 26 августа, до торжественного заседания, которое предполагалось завершить подписанием документа. Даже на этом заседании еще вносились какие-то изменения в текст. На переговорах, которые проходили ночью 25 августа, Дубчека не было, но некоторые члены делегации его несколько раз навещали. Дубчек поддерживал все предлагаемые нами изменения. Он хотел, чтобы мы продолжали вести переговоры и работать над текстом, но окончательного "да" относительно своей подписи под документом не говорил. Он хотел увидеть прежде окончательный текст договора.

Поздней ночью 25 августа вся чехословацкая делегация, за исключением Дубчека, Кригеля и Йиндры, собралась за одним столом. Председательствовал Ольдржих Черник. Каждый член делегации должен был выступить и заявить, подпишет ли он документ. Текст протокола еще не был отредактирован. Окончательную редакцию предполагалось принять на следующий день на совместном заседании с советским политбюро в полном его составе. Так что еще была возможность вносить изменения. К тому времени советская делегация еще не приняла формулировку об отводе войск с территории Чехословакии. (В подписанном протоколе такая формулировка есть.) Поэтому я считал преждевременным брать на себя обязательство подписать документ, исключив тем самым для себя возможность дальнейших изменений текста. Это было как раз то заседание, на котором Свобода кричал, что мы доболтались до оккупации страны иностранными армиями и продолжаем болтать. Гусак настаивал, чтобы высказался каждый из присутствующих. Атмосфера была очень тягостная, напряженная, истеричная. На этом заседании я отказался сказать "да" и оставил за собой право принять решение на следующий день, — в зависимости от итогов окончательного обсуждения. Все остальные уже тогда обещали подписать протокол. Что же касается отсутствовавших, то в позиции Алоиза Йиндры не сомневался никто. Позиция Кригеля была вообще неизвестна, а Дубчек, как и я, хотел сообщить свое окончательное решение на следующий день. Только он мог еще изменить ход событий.

Совещание окончилось почти в три часа ночи. Это была ночь с 25 на 26 августа. Потом мы поехали в правительственный особняк на Ленинских горах. В прихожей, как и в Кремле, стояли столики с водкой, коньяком, икрой, осетриной и другими яствами. Я вошел в свою комнату и свалился на кровать. Послышался тихий стук в дверь. Я открыл и увидел барышню в халатике, под которым, как мне показалось, не было ничего. "Вам что-нибудь еще нужно, товарищ?" — проговорило это создание и кокетливо улыбнулось. Я не знал, какие еще услуги полагаются официальному гостю Кремля, но выяснять не хотелось. Я раздраженно ответил, что мне нужно лишь одно: чтобы меня оставили в покое. И закрыл двери.

С ночи на 21 августа я спал лишь три раза, в всего по несколько часов. Я выкурил за это время сотни сигарет и выпил десятки чашек черного кофе. Напряжение не ослабевало — в кабинете Дубчека с дулом автомата у затылка, в советском посольстве в Праге, на съезде в Высочанах, а потом в Москве, в Кремле. От усталости я не мог уснуть. В голове мелькали не мысли, а картины, ощущения, бесконечные и бессвязные кадры. А в просветах между ними меня вдруг осеняло ошеломляюще ясное и бесхитростное понимание.

Я открыл окно. Оно выходило в сад. Свежий утренний воздух несколько успокаивал нервы, на смену видениям снова пришли мысли. Только сейчас мой мозг начал анализировать обстановку глобально, выделяя наиболее существенное. Пока я находился в вихре событий, разговоров, совещаний, в процессе принятия решений по поводу десятков конкретных вопросов, пока я писал проекты и замечания, переводил их на русский язык, обдумывал конкретные требования данного момента, я жил только своей ролью, как заранее запрограммированная вычислительная машина. То, что происходило вне меня, либо воспринималось как фон, либо служило стимулом для моих действий. То, что происходило во мне, откладывалось внутри, но у мозга не оставалось времени это обдумать. Из этого комплекса переживаний, впечатлений, ощущений и невысказанных слов в голове складывались вопросы, которые требовали ответа. А все многочисленные ответы выливались в один, в ответ на главный вопрос: что же произошло и какова моя роль в происшедшем?

То, что я оказался в Москве, — наполовину заложником, наполовину правительственным гостем, — логическое следствие всей моей жизни и политической деятельности. Я сам участвовал в создании такой ситуации. Собственно говоря, она — следствие не 20 августа 1968 года, а 25 февраля 1948 года.<sup>7</sup> Потому что именно тогда я безоговорочно, по собственному решению и убеждению прижкнул к тем, кто, в свою очередь, безоговорочно, по собственному решению "на вечные времена" подчинились Москве и ее целям. Сейчас уже не важно, почему я так поступил, почему так поступили другие, были ли намерения и идеалы, которые вели нас к этому, благими. Но так случилось. Выбор сделал я сам. Правда, вот уже больше десятка лет я знал, что Москва — это рассадник уголовщины. Я не хочу оставаться ее прислужкой. Но что же я делаю? Я пытаюсь изменить положение у нас, в Чехословакии, но почему-то надеюсь, что Москва искренне согласится покончить с уголовщиной. Я надеюсь получить разрешение Москвы на реформы дома. У меня есть некоторые доводы, чтобы так думать. Однако, уже много лет существуют веские доводы думать совершенно иначе. Я либо недооценил, либо не учел их. Они не соответствовали моим концепциям коммунистического реформизма.

Случившееся неделю назад полностью соответствовало логике вещей. Москва решила приостановить экспериментирование с коммунистическими реформами, которое показалось ей чересчур опасным, угрожающим ее собственным интересам. Кремль вправе поставить меня перед судом, вправе спросить: "Так что, ты все еще с нами "на вечные времена"? Ведь ты же сам это твердил целых двадцать лет!" Москва хочет слышать либо "да", либо "нет". Подробности ее не интересуют. Она требует определенного ответа и от меня, и от остальных. Кто оказался здесь в двусмысленной роли заложников и членов правительственной делегации одновременно.

Собственно, старый генерал Свобода был прав, когда ругал нас и требовал, чтобы мы взглянули прямо в глаза правде. Он понял ситуацию и потому отвечает Москве недвусмысленным "да". Свобода требует, чтобы так же поступили и остальные, а кто не хочет, пусть скажет "нет", но перестанет тянуть время, заниматься проволочками. Мы несколько ошарашены тем, что советское политбюро повело себя как банда гангстеров. Но разве

мы сами не виноваты? Кадар спрашивал Дубчека: "Неужели вы не знаете, с кем имеете дело?" Кадару казалось невозможным, чтобы Дубчек этого не знал. Мы оказались в дураках потому, что окутали свою глупость идеологией коммунистического реформизма.

У меня затекла нога — я долго стоял, опираясь о подоконник; я сел на него и продолжал смотреть в сад. Из тени вышел человек в штатском, его профессия не вызывает сомнений; он подходит к окну и задает тот же вопрос, что и девушка: "Вам что-нибудь нужно, товарищ?" — "Нет", — говорю я ему, схожу с подоконника и ложусь на кровать. Этот человек в саду — еще одно свидетельство, что в Москве все предусмотрели. Может быть, он стоит там, чтобы помешать мне выбраться из окна, если бы я решил таким способом уклониться от прямого ответа. Может быть, стоит ему свистнуть — прибегут другие сотрудники КГБ: окно невысоко, меня бы подхватили внизу без труда, я даже ногу бы не сломал.

Уже почти шесть утра, а в девять в Кремле снова начнутся переговоры. Я думаю о советском ультиматуме. Я знаю, что он будет подписан, что подписи под ним — тоже логическое заключение всей прошлой жизни. Не подписать — значит, начать новую, совершенно иную жизнь. Способен я на это? Не только способен, но и должен.

Ведь все мои прошлые политические поступки, в том числе и последний этап, этап реформы, завершились катастрофой. Благие намерения никого не интересуют, уже Данте знал, что ими вымощена дорога в ад. Я решаю не подписывать. Усталость побеждает, я засыпаю.

К девяти мы собрались в Кремле. О том, что я протокол не подпишу, сообщаю Чернику и Биляку как представителю промосковской группировки — пусть все знают. Я рассказал о своем плане: пойду к знакомому доктору, скажусь больным и на совместную встречу двух политбюро не приду. Пойти и не подписать — значило бы вызвать скандал. Этого я хотел бы избежать. Я не хотел оказывать давление на тех, кто решил иначе; но подписывать я не собираюсь. Биляк пробормотал, что я волен поступать, как мне угодно, но в восторге он явно не был, вид у него был хмурый, неприветливый. Черник привел Шпачека. Потом я говорил наедине со Смирковским и Шимоном. Я решаю подписать.

Почему? Все четверо признались, что пережили то же самое, когда их превратили из заключенных узников в членов правительственной делегации. Тогда все они почувствовали, что не могут с полной ответственностью действовать так, будто ничего не случилось. И все же все они, в конце концов, передумали. Они поняли, что отказ от подписи решит их личную проблему, но не политическую проблему страны, что на их плечах лежит бремя, которое они не могут просто сбросить. Более того, аргументы, которые я приводил накануне, укрепили их уверенность, что компромисс — совсем не безнадежное дело, что в Чехословакии все еще есть возможность создать лучшие и более перспективные условия, чем в Венгрии после интервенции 1956 года. Разумеется, я могу выбирать, как считаю правильным, но я должен помнить, что решаю не только свои личные проблемы, проблемы своей совести, но обязан думать и о политической перспективе. И если я выйду из рядов партийного руководства, это осложнит их положение, поставит под угрозу многое из того, что можно еще спасти. Кроме того, если я уклонюсь от подписи, создастся впечатление, что подписание протокола — это вопрос совести, вопрос чести каждого члена делегации в отдельности. В моем отказе будет осуждение тех, кто подписал, как предателей. В действительности же чехословацкая делегация была обязана найти выход из создавшегося положения, за которое ответственны мы все. Мне сказали также, что в заключительных переговорах будет участвовать Дубчек, что он намерен настаивать на некоторых пунктах, по которым договоренность еще не достигнута — главным образом, на выводе из Чехословакии иностранных войск.

Ночь, когда я был наедине с самим собой, со своим прошлым, кончилась. Настал день, и опять я был с другими. Я попал в свою старую привычную роль; мой мозг работал как запрограммированная машина. В глубине души я должен был признать верным, по крайней мере, один основной аргумент: политическая ответственность за все случившееся лежала и на мне. Отказавшись искать выхода, я уклонился бы от своей ответственности. И я снова, со всеми четырьмя, принялся подробно обсуждать конкретные возможности политического решения.

В момент, когда я согласился подписать протокол вместе с другими, политическая перспектива для Чехословакии представлялась мне так:

Как бы ни исправлять текст протокола, он даст Москве явные преимущества, возможность систематически давить на наших реформистов. Но, с другой стороны, и у нас появится возможность защищать политику КПЧ. Исход будет зависеть не от текста протокола, а от соотношения сил — как в Чехословакии, так и в Москве. Возвратившись в Прагу, мы сохраним ключевые позиции в своих руках. Невиданная сила всенародного сопротивления оккупации еще больше ослабит положение промосковских групп в структуре власти сверху донизу, несмотря на то, что именно эти силы Москва пытается взять под защиту. Представители промосковских групп попадут на менее значительные должности. Но, самое главное, можно добиться, чтобы советские войска ушли из Чехословакии не позже декабря. Исключение можно сделать для небольшого количества воинских частей, размещения которых на территории Чехословакии Москва добивается уже два года. К тому времени необходимо будет снова созвать XIV съезд партии и избрать новый Центральный Комитет. Все это осуществить возможно, поскольку в Москве, — в связи с международным возмущением по поводу оккупации Чехословакии, — будут заинтересованы смягчить общественное мнение. Весьма вероятно также, что "ястребы" в московском политбюро несколько умерят свой пыл.

Все это, конечно, возможно, но не наверняка. Если же к концу года станет ясно, что события развиваются в другом направлении, что политикам-реформистам не удалось сохранить свои позиции, все еще останется другой выход: представители политики реформ смогут подать в отставку, назначив предварительно своих преемников. Тем самым будет предотвращен приход к власти "революционного рабочего-крестьянского правительства", то есть захват власти в Чехословакии советской агентурой. Москва должна бы согласиться на этот вариант: ведь тем самым она добилась бы отхода Дубчека от дел. Что же касается Биляка и Йиндры, то они успели настолько скомпрометировать московское руководство, что оно не будет особенно против "третьего варианта". Новые руководители Чехословакии будут несколько лет проводить политику "кадаризации", а затем настанет время для нового периода реформ. Но, чтобы это осуществилось, надо было сохранить состав КПЧ, который склоняется к линии реформ. Иначе верх в партии возьмут агенты Москвы.

Успех этого плана целиком зависел от сплоченности реформистов вокруг Дубчека. Мы обещали друг другу этой сплоченности не нарушать. У меня никогда не было особых иллюзий насчет отношений между людьми внутри партийного аппарата. Всего несколько лет назад товарищи посылали друг друга на смерть. В партии всегда были интриги, и прошла всего неделя с тех пор, как часть руководства была арестована с согласия своих коллег. Но тогда речь шла не об этих коллегах по руководству КПЧ, не о касте аппаратчиков-бюрократов. Соратники Дубчека столько пережили в те дни, что я внезапно поверил в возможность прочных отношений даже в политике, отношений, которые основывались бы на личном доверии, на чести и совести, на выполнении данных обещаний, на честном слове. Однако, не прошло и двух месяцев, как испарилась и эта иллюзия. Иллюзорным оказался и расчет, что Кремль захочет умиротворения. Напротив, Москва и на этот раз была заинтересована лишь в последовательном, — пусть и постепенном, — достижении поставленной цели.

Все-таки могут спросить, как это мы, все еще оставаясь в Кремле в положении заложников, в плену у гангстеров, могли всерьез надеяться, что с течением времени Москва сама согласится разрядить напряженность в Чехословакии, а не громить все неугодные ей политические силы? Ответа, по крайней мере, два: нам очень этого хотелось, а потому мы убеждали себя, что это возможно; кроме того, мы все еще веровали в коммунизм. Таково объяснение, но оправдания — ни политического, ни морального — нашему поведению нет.

Около полудня я заявил, что передумал и подпишу протокол вместе с остальными. Ольдржих Черник обнял меня, он был искренне рад. Радость его была эгоистична, — теперь уже никто не поступит иначе, уже нет никого, кто потом мог бы сказать: "А я не подписал!" Впрочем, радость оказалась преждевременной, ее вскоре омрачил Франтишек Кригель.

Мы еще накануне спрашивали, почему Кригеля нет среди нас. Встречаясь с отдельными членами руководства КПЧ, советская сторона придумывала всяческие отговорки. Она старалась изолировать Кригеля от остальных. Но когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно. Кригеля привезли в Кремль. Первым с ним говорил в отдельной



комнате Смрковский. Потом, после обеда, Кригель присоединился к остальным. Унизительно было его положение, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и отговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед готовым решением: подписать протокол необходимо. Франтишек Кригель категорически отказался. Конечно, все мы вначале вели себя также, а для него это было только начало, которое мы миновали еще вчера. Но Кригель остался при первом своем решении, настаивая, что не подпишет.

Мы старались его убедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свой вчерашний спектакль. Он кричал так, что Кригель не выдержал и оборвал его. Свобода замолчал. Помню, Кригель сказал: "Что они могут мне сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен". Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. Такой человек говорит: "Нет, лучше убейте!" Я думаю, что Кригель, которого последние три дня все еще держали в изоляции как заключенного, решил, что его приговорили к смерти, и смирился с этим. Он не хотел в последние минуты замарать всю свою жизнь и поступить вразрез с совестью. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение поступка Кригеля. Просто я так понимаю причины этого поступка. В те минуты Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И, как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: нас ведь действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны.

Франтишек Кригель сказал, что не намерен участвовать в переговорах с советским политбюро. Его увели снова. Но советская сторона еще некоторое время настаивала на привлечении Кригеля к переговорам. По всей видимости, режиссер преднамеренно хотел довести до открытого разрыва членов чехословацкой делегации с Кригелем в присутствии советского политбюро. Дубчек на это не согласился, переговоры проходили в отсутствие Кригеля. Для сохранения некоторой симметрии, не

участвовал в них и Йиндра. Наконец, чехословацкая делегация, — на этот раз вместе с Дубчеком, — разместилась вдоль одной стороны стола, а напротив расположилось советское политбюро.

Переговоры начались перед наступлением вечера, открыл заседание Брежнев. Не краснея, непринужденным тоном он декламировал фразы о товарищеских отношениях и общих интересах, из которых мы вот сейчас будем исходить, чтобы достичь соглашения о дальнейших действиях в создавшейся сложной и серьезной обстановке. Он говорил о том, с каким сожалением, с какой сердечной болью приняло советское руководство решение о военном вмешательстве. Но иначе оно поступить не могло, так как интересы социализма — превыше всего. Брежнев хвалил государственный ум Людвика Свободы, верного друга Советского Союза и героя Второй мировой войны; он объяснялся в любви к Чехословакии. Он сам умилялся своим речам.

По сценарию, с подобной же речью должен был выступить и представитель чехословацкой стороны. Потом делегации должны были перейти к обсуждению отдельных абзацев проекта протокола. Но Дубчек все еще чувствовал себя неважно. Перед самым заседанием врач сделал ему несколько уколов. Поэтому с ответным словом выступил Черник. Он говорил, в основном, по существу, избегая болтовни о товариществе и вечной дружбе. Черник очень осторожно защищал Программу действий КПЧ и, между строк, осудил военное вмешательство.

На это ответил кто-то из советского политбюро. Атмосфера снова накалялась. Не соглашаясь с чем-то в выступлении Черника, Брежнев его перебил. Настала напряженная пауза. Черник кончил, слова попросил Дубчек — или, кажется, он просто, без процедуральных церемоний начал говорить. Вначале он слегка заикался, не мог правильно произнести некоторые слова, но постепенно овладел собой и закончил плавно. Он говорил по-русски. Это была прочувственная, вдохновенная защита "процесса возрождения" в Чехословакии, которая местами переходила в полемику, в обвинение интервентов. Дубчек импровизировал. Он говорил, что думал, потому его выступление — и по содержанию, и по форме — произвело впечатление.

С ответом Дубčekу сразу же выступил Брежнев. На этот раз он тоже импровизировал. Кажется, это было единственное, по-

настоящему содержательное выступление с советской стороны за все время переговоров: Брежнев тоже говорил, что действительно думал. Он коротко и ясно ответил на три основных вопроса: что больше всего раздражало Москву в "Пражской весне", как понимает Москва суверенитет государства, что она считает самым важным в международной политике.

Брежнев больше не говорил ни о "контрреволюционных силах", ни об "интересах социализма". Он прямо и четко обвинил Дубчека в том, что тот проводил внутреннюю политику Чехословакии без предварительного одобрения и утверждения Брежнева, и, еще хуже, даже не считаясь с его указаниями и советами. "Я ведь тебе с самого начала хотел помочь бороться против Новотного, — говорил Брежнев Дубчеку, — и еще тогда, в январе, спрашивал тебя: не угрожают ли тебе люди Новотного? хочешь ли их сменить? хочешь заменить министра внутренних дел? или министра национальной обороны? кого хочешь еще сменить? Но ты говорил, что не хочешь, что все они — хорошие товарищи. А позже я вдруг узнаю, что ты назначил нового министра внутренних дел, нового министра обороны и других новых министров, что ты сменил секретарей Центрального Комитета".

"Еще в январе я сделал несколько замечаний к твоему выступлению, — продолжал Брежнев, — я обратил твое внимание на то, что некоторые формулировки неверны. А ты их оставил! Да разве можно так работать! Ведь у нас даже я, подготовив доклад, даю его всем членам политбюро, чтобы они высказались. Верно я говорю, товарищи? — задал Брежнев риторический вопрос, окинув взглядом политбюро, которое разместилось по обеим сторонам от него. Все закивали в знак согласия, забормotalи, подтверждая сказанное начальником. — У нас — коллективное руководство, — продолжал Брежнев, — а это значит, что свои взгляды каждый должен подчинять взглядам других".

Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчек не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. "Я тебе верил, я тебя защищал перед другими, — упрекал он Дубчека. — Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ. А ты нас всех так подвел!" Во время подобных пассажей голос Брежнева дрожал от жалости к себе; он говорил, заикаясь, со слезами в голосе. Он выглядел обиженным племенным вождем, который считает само собой разумеющимся и единственно пра-

вильным, что его положение главы племени покоится на безоговорочном подчинении и послушании, что только его мнение и только его воля — последняя инстанция, ибо только он печется о благе всех. Сама идея, что действительность может или должна была бы быть иной, ему чужда. В независимом поведении он усматривал враждебность и измену.

И вот от этого смертного греха, — то есть из того, что в Праге не всегда спрашивали согласия Кремля, — рождались, по мнению Брежнева, все остальные грехи: бурное развитие "антисоциалистических тенденций"; печать публикует все, что хочет; возникают "контрреволюционные организации", а руководство КПЧ под давлением всех этих сил постоянно отступает. Если бы Дубчек все делал с согласия и по совету Брежнева, если бы он вычеркнул из своих выступлений слова, которые Брежнев рекомендовал вычеркнуть, если бы он назначал министров и секретарей, которых Брежнев бы утвердил, ничего подобного в Чехословакии бы не случилось. Такова, вкратце, была оценка Брежневым "Пражской весны".

Брежнев разъяснил Дубчику, что Москве стало, наконец, ясно, что на его, Дубчека, руководство КПЧ положиться нельзя. И он сам, долго защищавший "нашего Сашу", вынужден был это признать. Потому что речь шла уже о совершенно ином и самом важном — об итогах Второй мировой войны.

Брежнев долго и подробно говорил о жертвах Советского Союза, о погибших солдатах и гражданах, об огромных материальных потерях и страданиях советских людей во время войны. Этой ценой обеспечил Советский Союз свою безопасность, гарантия которой — послевоенный раздел Европы, как, в частности, и то, что Чехословакия связана с СССР "на вечные времена". По мнению Брежнева, это логично и справедливо, ибо тысячи советских солдат отдали жизни за наше освобождение, и их могилы наш народ обязан уважать, а не оскорблять. Наши западные границы — это не просто наши границы, это — общие границы "лагеря социализма". Советское политбюро не имеет права рисковать достижениями последней войны, так как это было бы надругательством над памятью о жертвах, которые понес советский народ.

Брежнев признавал, что сейчас, после военной интервенции, обстановка в Чехословакии сложная: люди относятся к событи-

ям эмоционально. Он даже извинял партийное руководство Чехословакии во главе с Дубчеком, которое, по его мнению, продолжает неправильно оценивать положение. "Сегодня вам кажется невозможным согласиться с нашими действиями, — сказал Брежнев. — Но посмотрите на Гомулку. В 1956 году он, как и вы теперь, был против того, чтобы наши войска помогли Польше. Но если я сегодня заявлю, что отзываю из Польши советские войска, Гомулка сядет на самолет, прилетит сюда, чтобы просить меня этого не делать".

Брежнев даже и не пытался доказывать, будто "западные империалисты" угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать: что "западногерманские реваншисты" уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов, и т.д. Логика Брежнева была проста: Мы, в Кремле, поняли, что на вас положиться нельзя. Во внутренней политике вы делаете, что хотите. При этом ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Мы заплатили за нее огромными жертвами и уходить не собираемся. Границы этой территории — и наши границы. А вы нас не слушаетесь. В этом мы видим угрозу нашим интересам. Память о погибших во Второй мировой войне, которые отдали свою жизнь и за вашу свободу, дает нам полное право послать к вам своих солдат. Мы завоевали право чувствовать себя в безопасности в наших общих границах. Не существенно, угрожает ли нам кто-либо. Речь идет о принципе, суть которого не меняется в зависимости от внешних обстоятельств. Он утверждён "на вечные времена".

Брежнев не только возмущался, он был удивлен: ведь это же так просто, как вы не понимаете? Таких слов, как суверенитет, национальная и государственная независимость, он даже не произносил. Он не повторял и дежурные фразы насчет "общих интересов социалистических стран". В его монологе содержалась одна простая идея: наши солдаты дошли до Эльбы, а потому сейчас там наша, советская граница.

"Результаты Второй мировой войны, — продолжал Брежнев, — для нас незыблемы, и мы будем их защищать даже ценой нового военного конфликта". Он совершенно недвусмысленно за-

явил, что военная интервенция в Чехословакии была бы принята даже в том случае, если бы из-за нее могла начаться Третья мировая война. К этому Брежнев добавил: "Впрочем, в настоящее время опасности военного конфликта нет. Я спросил президента Джонсона, признает ли сейчас американское правительство соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии эти соглашения признаются полностью, что же касается Югославии, то об этом еще следует поговорить. Так что же, по вашему мнению, будет сделано в защиту Чехословакии? — Ничего. Война из-за вас не начнется. Выступят товарищи Тито и Чаушеску, выступит товарищ Берлингуэр. Ну и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует!"

И это тоже было просто и ясно. Нам, коммунистам-реформистам, Брежнев преподал воистину ценный урок: мы, дураки, рассуждаем о какой-то модели социализма, пригодной для Европы, — в том числе и для Западной, — а он, реалист, знал, что вот уже пятьдесят лет это никого не волнует. А почему? Да потому, что граница социализма, то есть граница СССР, -- пока все еще проходит по Эльбе. И американский президент с этим согласен, так что, вероятно, ничего не изменится еще лет пятьдесят.

А кто такой Берлингуэр? Разве у него есть танки? Разве может он изменить итоги Второй мировой войны?

Брежнев, вероятно, ожидал, что после такого ясного, реалистического разъяснения, Дубчек поймет ситуацию, и можно будет приступить к обсуждению протокола, которое завершится его торжественным подписанием. Но случилось другое. Дубчек стал возражать, — не помню уже, по какому конкретно вопросу. Он сказал что-то, что вывело Брежнева из себя. Он перебил Дубчека, начал кричать, лицо его стало красным. Наконец, Брежнев произнес сердито: "Все ваши предшествующие переговоры были бессмысленны. Все повторяется, как в Чиерне на Тиссе. Говорить больше не о чем". Брежнев заявил, что прекращает переговоры.

Брежнев, а за ним и все остальные члены советского политбюро, встали, собираясь уйти. В наступившей сумятице начал говорить Людвик Свобода. Он опять хотел утихомирить бурю. Брежнев остановился, выслушал, потом снова повернулся к выходу, добавив, что надо обсудить дальнейший порядок дейст-

вий. Он вышел в сопровождении всего советского "коллективного руководства", покидавшего зал гуськом.

Я и теперь не уверен, было ли это случайностью. И тогда у меня создалось впечатление, что нам показали заранее запланированный спектакль. Реакция Брежнева и его приказ прекратить переговоры совершенно не соответствовали обстановке. Я даже не запомнил слов Дубчека, которые послужили поводом брежневского гнева, а потому думаю, что Дубчек не сказал ничего такого, чего не говорил и раньше. Дальнейший ход переговоров тоже подтвердил, что это был обдуманый шаг. Советское политбюро готовило обстановку для утверждения протокола. Ему было нужно, чтобы чехословацкие реформисты повели себя осторожно и свели неприятные советской стороне замечания до минимума. Но независимо от действительных причин этой сцены, она вызвала в зале панику.

У Дубчека снова начался нервный припадок. Он дрожал, говорил захлебываясь и бессвязно. Появились врачи со шприцами. Дубчек отталкивал их, не хотел никаких уколов и вдруг — к всеобщему изумлению — заявил: "А я не подпишу! Пусть делают со мной, что хотят — не подпишу!"

К нему подбежало несколько человек (среди них были Черник, Свобода и Смирковский); перебивая друг друга, они говорили, что это невозможно, что сейчас уже нельзя ничего переменить. Я тоже тогда думал, что так закончить переговоры нельзя. К тому же я был уверен, что поведение Дубчека обуславливалось его психическим состоянием; что через некоторое время он передумает. Я говорил с ним несколько минут, высказал это свое мнение. Мы говорили с ним по очереди, старались на него повлиять, чтобы переговоры возобновились. Дубчек слушал, но не отвечал и позиции своей не менял. "Да разве ты не видишь, ведь они совершенно не понимают, что наделали", — ответил он мне. И повторил: "Я не подпишу!" То было мгновение правды. Быть может, если бы Дубчек участвовал в совещании чехословацкой делегации прошлой ночью и занял такую же позицию, это существенно изменило бы ход переговоров в Москве. Но тогда уже было поздно. В конце концов он разрешил сделать ему успокоительный укол, а после второго тура уговоров сдался.

Но еще до того, как Дубчек сдался, обе стороны пытались возобновить переговоры. Свобода, Черник и другие реформи-

сты, а кроме них Биляк и Якещ, убегали из зала в какие-то комнаты, где они встречались с Сусловым, Пономаревым и другими. Наконец, Свобода был принят Брежневым, и они о чем-то договорились. Перерыв длился около часа. Когда переговоры возобновились, был уже поздний вечер.

Дальнейший их ход уже не был столь драматичен. Абзац за абзацем обсуждался текст протокола. Советская сторона стала уступчивей. Не могу припомнить точно, какие именно поправки были внесены в протокол на этом последнем этапе. Однако в окончательном тексте остались два важных пункта. Во-первых, там говорилось, что после их "временного" пребывания войска уйдут, хотя отход этот был обусловлен прогрессом "нормализации". Кроме того, в протоколе говорилось, что советская сторона поддерживает политическую линию январского и майского пленумов КПЧ.

По этому пункту опять разгорелся диспут. Спор возник по поводу апрельского пленума, на котором была одобрена Программа действий КПЧ. Брежнев, — как и в Братиславе,\* — возражал, якобы по соображениям стилистики, чтобы между словами "январский" и "майский" пленумы стояло тире. При такой формулировке включался и апрельский пленум. Наконец, Брежнев заявил откровенно: В программе действий есть некоторые положения, которые советское политбюро не считает правильными, а потому и не может согласиться с программой в целом. В конце концов, и нам, мол, должно быть ясно, что при создавшейся обстановке программу действий надо исправить. При этом, однако, советское политбюро полностью поддерживало резолюцию майского пленума, которая не только признает программу действий, но и называет ее основной линией партии. Правда, в этой резолюции говорится о враждебных социализму силах. На этом обсуждение закончилось.

---

\* В конце июля 1968 года в г. Чиерна на Тиссе состоялась встреча политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На этой встрече было принято решение созвать совещание в Братиславе (в начале августа 1968 года), на котором будет разработано совместное коммюнике о положении в Чехословакии. В совещании в Братиславе участвовали представители всех стран — членов Варшавского договора, кроме Румынии. Эти же страны, представленные в Братиславе, через две недели после совещания приняли участие в оккупации Чехословакии.



К полуночи все было готово, настал момент подписания. Неожиданно распахнулись двери и в зал ворвалось с десяток фотографов и операторов. Тут же, как по приказу, все члены советского политбюро встали и, наклоняясь через стол, пытались обнять сидевших напротив членов чехословацкой делегации. Это напоминало театр абсурда: вспышки магния и протянутые над столом десятки рук членов советского политбюро. Казалось, какое-то фантастическое растение-мясоед хватается нас своими липкими щупальцами. Я не встал, не сделал встречного движения. Я оттолкнулся от ножки стола, и мое кресло, скользя по натертому полу, отъехало к стене. Я оказался возле посла Коуцкого, сидевшего вместе с теми, кто не поместился за столом. Глаза Коуцкого широко раскрылись от испуга. Он прошептал: "Ты с ума сошел!" Я кивнул головой в знак согласия, добавив, что обниматься с ними не могу и не хочу. Коллективное объятие у стола кончилось. Операторы и фотографы успели его увековечить.

Потом запечатлели главных представителей обеих сторон в момент подписания протокола. После этого так же неожиданно, как их впустили в зал, фотографов выпроводили, а двери закрыли. Я слышал, как Подгорный спросил: "А разве товарищ Млинарж не подпишет?" Значит, он заметил, как я увернулся от объятий. Да он и не мог не заметить, — ведь я сидел напротив него, ко мне он тянул руки. Начали оглядываться и остальные: что, собственно, со мной происходит? Я ответил, что подпишу, встал и собственноручно поставил свою фамилию под смертным приговором, вынесенным демократической реформе Чехословакии.

Как после каждого напряженного момента, — трагичного ли, или комичного, — наступила разрядка. Но продолжалась она недолго. Атмосфера снова накалилась, когда возник спор из-за Франтишека Кригеля. Этот эпизод напоминает уголовный роман из гангстерской жизни, хотя случился он в Кремле, после переговоров, которые, как утверждалось в коммюнике, проходили "в товарищеской и дружеской обстановке".

Когда обсуждались технические вопросы, связанные с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что Кригеля нужно привезти в Кремль, так как он должен улететь вместе со всей делегацией. На это Брежнев ответил, что, возможно, было бы лучше, если бы Кригель не улетел в Прагу с нами. "Оставьте его пока здесь, — сказал Брежнев. — Он ведь не подписал протокола, и вам бу-

дет с ним неловко”. Дубчек, — и, кажется, Свобода, — решительно сказали, что делегация вернется в Прагу в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Брежнев продолжал настаивать. Он говорил, что Кригель будет саботировать выполнение протокола и, ссылаясь на то, что он сам протокол не подписал, будет строить оппозицию силам, которые ”стремятся к консолидации”.

Думаю, что за этим скрывался какой-то замысел. Все мы вдруг вспомнили, что Кригель до сих пор в заключении, что он всего лишь заложник, а не член делегации, как мы. И сам Брежнев говорил о нем, как о заключенном, который к нам вроде и отношения не имеет. Людвик Свобода сказал, что по приезде в Прагу Франтишек Кригель и его жена будут в Ланах.<sup>8</sup> Брежнев, вероятно, подумал, что Свобода обещает посадить Кригеля в какую-то роскошную тюрьму. ”Но он же может бежать! — сказал он. — Кто из вас может за него поручиться?”

Им нужен был не выкуп за заложника! Главарь банды попросту требовал заклад, — как в детективе. Шпачек, Шимон и я, не сговариваясь, сказали, что ручаемся за Кригеля. Но этого оказалось недостаточно. Началась закулисная торговля. Дубчек, Свобода, Черник и Смрковский вместе с руководством советского политбюро ушли в соседнюю комнату, и там, за закрытыми дверьми, они договорились. Если не ошибаюсь, и Якеш, используя свои связи, — вероятно, в органах, — пытался добиться освобождения Кригеля. Соглашение было постыдное, для Кригеля — унижительное. Пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

Кремлевские руководители предложили собраться перед нашим отлетом — на этот раз, не формально, по-дружески. Косыгин, которому развеселое поведение явно не шло, принялся шутить, вспоминая старый русский обычай, согласно которому гости не могут уехать, не присев перед дорогой, не выпив ”посошка”. Когда-то я читал про обычаи одного из монгольских племен. Там особо милые сердцу пленники приковывались цепями к юртам: а в их босые ноги вонзали конский волос, который постепенно вращался в кожу. Этот волос как будто бы и не мешал пленнику — если, конечно, он не вставал на ноги, не пытался бежать. Обычай задерживать милых гостей, о котором говорил Косыгин, был, конечно, гуманнее. Мы провели с хозяевами еще около часа.

Все разбились на группы — по два-три человека в каждой. Ко мне подошел Косыгин и, после нескольких ни к чему не обя-

зываются слов, спросил, считаю ли я реальным осуществление протокола, какие трудности могут встретиться и как я смотрю на некоторые персональные проблемы. По ходу разговора он еще и еще возвращался к вопросам кадров. Я догадался, что он меня прощупывает. Этот способ надежнее и проще политико-идеологических дебатов. Косыгину важно было не то, что я думаю о "социализме с человеческим лицом", а то, что я думаю о Чернике, Гусаке или Йиндре.

Я ответил откровенно, что если московское политбюро и дальше будет ориентироваться на людей, из которых в августе предполагалось сформировать "революционное правительство", — в их числе я назвал Биляка и Йиндру, — это кончится катастрофой. "Ну, эти...", — произнес Косыгин и презрительно махнул рукой. И тут же отозвался с похвалой о Гусаке. Вероятно, он хотел намекнуть, на кого они будут ориентироваться. Не возражал Косыгин и против того, что главное — воспрепятствовать победе крайних тенденций. Я ему сказал, что отставка Кригеля, Цисаржа, Павела, Гайека и других возможна лишь при том условии, что одновременно уйдут в отставку те, кто полностью скомпрометировал себя в августе. Тогда мне показалось, что Косыгин, как и мы, заинтересован в быстрой разрядке напряженности в Чехословакии.

На следующий день, уже в Праге, Дубчек сообщил нам, что в качестве условия сохранения добрых отношений с СССР в будущем Брежнев потребовал оставить за Биляком и Йиндрой их партийные должности.

Брежнев и остальные члены советского политбюро поехали с нами на аэродром. Это были официальные проводы, снова с фотоаппаратами и операторами. В ожидавшем нас самолете находился Франтишек Кригель. 27 августа 1968 года, около двух часов утра по московскому времени наш самолет поднялся в воздух. Мы снова молчали, но на этот раз причина была другая. Каждый думал о том, как встретят "московский протокол" дома. И думаю, что предвидения были у всех далеко не розовыми.

Роли, которые нужно было сыграть после прилета, распределили заранее. Первым публично выступит Свобода, за ним — Дубчек. Утром Черник встретится с правительством, а Смирковский — с парламентом. Дубчек, сразу после прибытия в Прагу, обсудит положение с политбюро, избранным на съезде в Высоча-

нах. А так как после обеда он должен выступить перед народом, нужно подготовить для него текст выступления. И, как и прежде, до оккупации, это задание поручается Млинару и Шимону. Мы сидим в самолете и пишем. Это наши последние спокойные часы. Думаю, что эта речь Дубчека была самой значительной из всех, когда-либо мной написанных. Дубчек немного поправил и дополнил ее – сначала на бумаге, а потом и по ходу выступления. Эта речь Дубчека стала самой известной. Огромную политическую роль сыграли тогда не только слова, но и сдерживаемые Дубчеком слезы. Этой речью Дубчеку удалось невозможное: народ опять поверил, что еще не все потеряно, что еще жива надежда и что Дубчек осуществит ее.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Речь идет о 14 чрезвычайном съезде КПЧ. История его такова: 1 июня 1968 года Пленарное заседание ЦК КПЧ постановило созвать на 9 сентября 1968 года Чрезвычайный 14-й съезд. (Очередной съезд должен был состояться в 1970 г.) На этом чрезвычайном съезде предполагалось определить политическую линию партии и избрать новый Центральный комитет. Созыв чрезвычайного съезда был одним из важнейших политических решений, принятых в период "Пражской весны". В июне и июле были проведены районные и областные партконференции, на которых избрали делегатов на 14-й съезд. На этих же конференциях проходило обсуждение проекта нового устава партии. Не было сомнения, что съезд одобрит реформы 1968 года. И для того, чтобы воспрепятствовать этому съезду, оккупация произошла в конце августа 1968 года. После вторжения в Прагу представители советских вооруженных сил арестовали руководителей чехословацкого государства и КПЧ: Дубчека – генерального секретаря партии, Черника – председателя правительства, Смирковского – председателя Чехословацкого национального собрания (парламента); Кригеля – председателя Национального фронта, и других. Их увезли в СССР и пытались создать в Чехословакии марионеточное, т.н. рабоче-крестьянское правительство и "революционный трибунал".

После оккупации чехословацкое радио передало сообщение, что делегаты съезда должны собраться в Праге. Делегаты приезжали в Прагу, как могли, так как общественный транспорт в то время почти не действовал. Место работы съезда было засекречено. Делегаты приходили на пражские заводы, и рабочие отводили их в помещение съезда, в одном из крупнейших пражских заводов в Высочанах (Высочаны – это промышленный район Праги). Состоялся съезд 22 августа 1968 года. В работе съезда участвовало 1.290 человек, то есть более двух третей избранных на 14-й съезд делегатов, так что в соответствии с Уставом партии его решения были законными. Значение 14-го съезда исключительно велико, в первую очередь потому, что он воспрепятствовал осуществлению планов советского руководства и фактически спас жизнь арестованным и увезенным в Москву руководителям Чехословакии.

<sup>2</sup> Командование советской армии попыталось создать в Чехословакии революционное рабоче-крестьянское правительство, которое одобрило бы оккупацию страны и от имени которого действовал бы революционный трибунал. Эта попытка провалилась, так как в то время оккупантам не удалось найти достаточное количество людей, готовых в такое правительство войти.

<sup>3</sup> Чиерна на Тиссе – чехословацкий городок на границе с Западной Украиной. С 29 июля по 1 августа 1968 года в этом городке состоялась

встреча между политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На ней обсуждалось внутриполитическое положение Чехословакии и отношения между КПЧ и КПСС.

<sup>4</sup> "Первая Чехословацкая республика" – так называется независимое чехословацкое государство, созданное 28 октября 1918 года после распада Австро-Венгерской империи. Позже, в 1938 году, вследствие Мюнхенского соглашения между фашистской Германией и Италией – с одной стороны, и Францией и Англией – с другой, от Чехословакии были отрезаны пограничные (судетские) области. В мюнхенских переговорах представители Чехословакии не участвовали. Мюнхенский диктат положил конец Первой республике, после чего начался короткий период т.н. Второй республики, продолжавшийся до 15 марта 1939 года – дня вторжения немецких войск на территорию Чехии и Моравии. Словакия же в то время образовала самостоятельное протекторское фашистское государство.

<sup>5</sup> Т.Г. Масарик, 1850-1937, философ, журналист, политик – депутат австро-венгерского парламента. Автор многих книг, в том числе книги "Россия и Европа". Во время Первой мировой войны стоял во главе движения за образование самостоятельного чехословацкого государства, после создания этого государства стал его первым президентом.

<sup>6</sup> Эмиль Гаха (1872-1945) был избран президентом чехословацкого государства 30 ноября 1938 года – после ухода в отставку президента Бенеша. В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Гаха (в то время очень большой человек) подписал в Берлине документ о создании на территории Чехии и Моравии немецкого протектората. До конца Второй мировой войны он был президентом Протектората. После окончания войны Гаха был арестован. Он умер до суда.

<sup>7</sup> В феврале 1948 года КПЧ захватила монопольную власть в стране. Чехословацкое демократическое плюралистическое государство перестало существовать. С того момента в Чехословакии начинается строительство социализма "по советскому образцу".

<sup>8</sup> Ланы – замок неподалеку от Праги, место отдыха чехословацких президентов. В Ланах похоронен первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик.

*Н.С. Хрущев*

## КАК МЫ ПОССОРИЛИСЬ С АЛБАНИЕЙ \*

... После XX съезда, а они понимали, в чем заключалась суть — это осуждение личности, это осуждение культа личности, осуждение единовластия, единоначалия, значит, и прочее и прочее... Осуждение антидемократических, антипартийных форм жизни и в партии и в стране, которые создались решением XX съезда... Это напугало албанцев, да не только албанцев, и другие, которые не так грубо, но тоже, так сказать, видимо, это их встревожило, что демократия, конечно, хороша, но в демократических условиях удержаться у власти у руководства и, так сказать, не оглядываясь и не прислушиваясь к тем, кем руководишь, это трудная задача. Тут требуется большой ум и требуется умение, умение и понимать задачи, которые стоят и перед партией и перед страной, и умение слушать тех, кем ты руководишь. Надо... надо всегда чувствовать свою зависимость, что ты в руководстве над ними не потому, что ты хочешь ими руководить, а, главным образом, чтобы ты понимал, что ты можешь руководить ими при условии, если хотят те, которыми ты руководишь, чтобы ты ими руководил. А это только возможно при одном условии, если этот руководитель, как говорится, является плотью и кровью своего народа, своей партии. Который исходит из интереса народа, не личных эгоистических, значит, и тщеславных, а действительно обладает знанием, скромностью и умением жить в коллективе и вести соответствующую работу и ... которая соответствовала бы твоему общественному и политическому положению... То есть ты не над партией, а ты слуга партии, ты можешь только быть на этом посту, покамест воля партии поддерживает и довольна тобой и твоей деятельностью.

Это не укладывалось в практическую деятельность, которая проводилась Энвер Ходжа, Мехмет Шеху и Баллуту. Потом уже,

\* Две книги воспоминаний Н.С. Хрущева по-русски вышли в издательстве "Chalidze Publications": 1-я в 1979 г., 2-я — в 1981 г.

когда у нас обострились отношения, а потом переросли во враждебные отношения, и тогда приходили албанцы и более откровенно рассказывали здесь, и буквально издевались... у них слезы, какое положение было и к чему сейчас, видимо, они отброшены, значит. Но сейчас уже не могу конкретно, значит, назвать фамилии, но вот мне рассказывал Тито, что там секретарем... первым секретарем Центрального комитета был очень хороший, говорит, товарищ. Они, албанцы, его знали... то есть югославы его знали и поддерживали. Он сам был из рабочих и, собственно, он был первым организатором коммунистической партии Албании. И его, значит, я не знаю, при каких обстоятельствах, и на какой основе, так сказать, Энвер Ходжа и Баллуту и Мехмет Шеху против него устроили заговор и говорят, что Мехмет Шеху буквально лично задушил этого человека. Потом много рассказывали, конкретно называли случаи, кого, значит, задушили, тайно убивали. Мне потом рассказывали, что у них была такая система, что если кто-нибудь проштрафился, а это определял Энвер Ходжа, Мехмет Шеху и Баллуту, тогда они выносили втроем приговор устный или письменный. А приговор — достаточно было им согласиться всем трем, что такой-то человек является вредным для партии, и они находили возможность и уничтожали его, тайно уничтожали, этот человек исчезал. Это очень похоже на систему, которую ввел Сталин, он это тоже делал через Берия и через других подобных Берия лиц, таким же способом было очень много достойных людей уничтожено Сталиным. В нашей партии.

Вот, собственно говоря, положение, какое сложилось у нас с Албанией, с Албанией и чем это вызвалось. Вызвалось это боязнью, боязнью демократизации, я повторяю, демократизации общественно-партийной жизни в стране. А это, я считаю, неизбежно, и это главное, это главное было, и сейчас я считаю, сейчас, я стою на этих позициях с еще большей убежденностью. И здесь мы, значит, уже... и помню у нас разрыв. Как этот разрыв сказан, значит, и как он выражался на определенных этапах, значит. Но прежде всего, я уже говорил, что мы узнали, что албанцы с китайцами против нас ведут работу, и мы тогда, собственно, и узнали, что китайцы против нас ведут работу, потому что других у нас, кроме этих, фактов не было. А это вот, когда ехала в Китай албанская делегация..., то пришла одна ал-



банка — честнейший человек, я думаю, что они ее задушили, беднягу, значит, гестапо ее не задушило, так свои, как говорится, братья в кавычках, потому что это же коммунисты, она коммунистом была, хороший человек, хорошая коммунистка, ее, видимо, задушили... Дело в том, что она как коммунист пришла к нам в Центральный комитет и рассказала, о чем китайцы разговаривали с албанцами, и как албанцы, значит, соглашались с китайцами. И мы же, по наивности своей, как только узнали... а Махмет Шеху лег тогда у нас в больницу, не знаю, процедуру какую-то должен был лечебную проводить, мы ему рассказали, значит, что вот, как это могло случиться, что вот в Китае у вас такая беседа... Мехмет Шеху буквально тогда, как говорится, с постели больничной схватился и сейчас же улетел в Албанию.

А уже окончательный разрыв такой — это произошел у нас тогда... был проходил партийный съезд Румынской коммунистической партии в Бухаресте. И там, когда мы решили собраться и обменяться мнениями по международным вопросам и по вопросам отношений между коммунистическими партиями и китайской компартией, я говорю не только между коммунистической партией Советского Союза и Китайской, но эти, такие же вопросы касались и других коммунистических партий. И вот когда мы собрались, неожиданно, для меня совершенно было неожиданно, албанцы открыто выступили против нас. В поддержку Китая. Я не помню сейчас фамилию этого товарища, который был представителем албанской партии труда на съезде компартии Румынии в Бухаресте, но я его спросил, в чем дело? Он говорит, товарищ Хрущев, я сам ничего не знаю, я получил такую директиву, я получил директиву поддерживать Китай. Я сам не знаю. Мы тогда еще думали, что не все потеряно, мы хотели все сделать, чтобы с албанцами у нас не было бы разрыва, чтобы восстановить наши дружеские отношения. Но несмотря на наши усилия, это ни к чему не привело. А уж когда собрались на совещание, я не помню, какой это был год — 60-й, наверное, когда собрались все братские компартии в Кремле, и Энвер Ходжа тут выступил с антисоветской речью, обвинительной, значит. Он больше... больше клыки собачьи показывал против нас, чем сами китайцы. И тогда очень характерно выступила Долорес Ибаррури, это старейший революционер и преданнейший человек коммунисти-

ческому движению, она выступила и говорит, как это так, это, говорит, выступление Энвер Ходжи подобно тому, когда, говорит, пес, которому подают хлеб, а он бросается и хватается за руку. Это очень метко было сказано, значит, но это вот факт.

## **К 25-й ГОДОВЩИНЕ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

### **ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР ОБ ОСНОВАХ РАЗВИТИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ДРУГИМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ**

Незыблемой основой внешних отношений Союза Советских Социалистических Республик была и остается политика мирного сосуществования, дружбы и сотрудничества между всеми государствами.

Наиболее глубокое и последовательное выражение эта политика находит во взаимоотношениях между социалистическими странами. Будучи объединены общими идеалами построения социалистического общества и принципами пролетарского интернационализма, страны великого содружества социалистических наций могут строить свои взаимоотношения только на принципах полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга. Это не только не исключает, но напротив того, предполагает тесное братское сотрудничество и взаимопомощь стран социалистического содружества в экономической, политической и культурной областях...

В процессе становления нового строя и глубоких революционных преобразований общественных отношений было немало трудностей, нерешенных задач и прямых ошибок, в том числе и во взаимоотношениях между социалистическими странами, нарушений и ошибок, которые умалляли принцип равноправия в отношениях между социалистическими государствами.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза со всей решительностью осудил эти нарушения и ошибки и поставил задачу последовательного осуществления Советским Союзом в своих взаимоотношениях с другими социалистическими странами ленинских принципов равноправия народов. Он про-

возгласил необходимость полного учета исторического прошлого и особенностей каждой страны, вставшей на путь строительства новой жизни. ...

Как показали события последнего времени, возникла необходимость сделать соответствующее заявление о позиции Советского Союза во взаимоотношениях СССР с другими социалистическими странами, прежде всего в экономической и в военной областях.

Советское Правительство готово обсудить совместно с правительствами других социалистических государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление экономических связей между социалистическими странами с тем, чтобы устранить какие бы то ни было возможности нарушения принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и равноправия в экономических отношениях.

Этот принцип должен быть распространен и на советников. Известно, что в первый период формирования нового общественного строя Советский Союз по просьбе правительств стран народной демократии направлял в эти страны некоторое количество своих специалистов — инженеров, агрономов, научных работников, военных советников. За последний период Советское Правительство неоднократно ставило перед социалистическими государствами вопрос об отъезде своих советников.

В связи с тем, что к настоящему времени в странах народной демократии сложились свои квалифицированные национальные кадры во всех областях хозяйственного и военного строительства, Советское Правительство считает неотложным рассмотреть совместно с другими социалистическими государствами вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этих странах советников СССР.

В военной области важной основой взаимоотношений между Советским Союзом и странами народной демократии является Варшавский договор, по которому его участники взяли на себя соответствующие политические и военные обязательства, в том числе обязательство принимать "согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем, чтобы огранить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии".

Известно, что в соответствии с Варшавским договором и правительственными соглашениями советские части находятся в Венгерской и Румынской республиках. В Польской республике советские воинские части находятся на основании Потсдамского соглашения четырех держав и Варшавского договора. В других странах народной демократии советских воинских частей нет.

В целях обеспечения взаимной безопасности социалистических стран Советское Правительство готово рассмотреть с другими социалистическими странами — участниками Варшавского договора — вопрос о советских войсках, находящихся на территориях указанных выше стран. При этом Советское Правительство исходит из того общего принципа, что размещение войск того или иного государства — участника Варшавского договора — производится по договоренности между всеми его участниками и только с согласия того государства, на территории которого по его просьбе размещены или имеется в виду разместить эти войска.

Советское Правительство считает необходимым сделать заявление в связи с событиями в Венгрии. Ход событий показал, что трудящиеся Венгрии, достигшей большого прогресса на основах народно-демократического строя, справедливо ставят вопрос о необходимости устранения серьезных недостатков в области экономического строительства, о дальнейшем повышении материального благосостояния населения, о борьбе с бюрократическими извращениями в государственном аппарате.

Однако к этому справедливому и прогрессивному движению трудящихся вскоре примкнули силы черной реакции и контрреволюции, которые пытаются использовать недовольство части трудящихся для того, чтобы подорвать основы народно-демократического строя в Венгрии...

По просьбе Венгерского народного правительства Советское Правительство дало согласие на ввод в Будапешт советских воинских частей для того, чтобы помочь Венгерской народной армии и венгерским органам власти навести порядок в городе.

Имея в виду, что дальнейшее нахождение советских воинских частей в Венгрии может служить поводом для еще большего обострения обстановки, Советское Правительство дало своему

военному командованию указание вывести советские воинские части из города Будапешта, как только это будет признано необходимым Венгерским правительством.

Вместе с тем Советское Правительство готово вступить в соответствующие переговоры с правительством Венгерской Народной Республики и другими участниками Варшавского договора по вопросу о пребывании советских войск на территории Венгрии.

Защита социалистических завоеваний народно-демократической Венгрии является в данный момент главной и священной обязанностью рабочих, крестьян, интеллигенции, всего трудового венгерского народа. ...

30 октября 1956 года \*

---

\* Эта декларация была опубликована в "Правде" за пять дней до вторжения советских войск в Будапешт.

## ОБ АВТОРАХ

### Йиржи Пеликан —

депутат Европейского парламента от социалистической партии Италии. Главный редактор журнала "Листы", который издается в Риме на чешском языке. Он родился в Чехословакии в 1923 году. В 1939 году стал членом действовавшей тогда в подполье компартии. В 1940 году был арестован гестапо.

В период с 1948 по 1953 гг. Пеликан был депутатом Чехословацкого национального собрания (парламента), членом Комиссии ЦК по вопросам идеологии, членом нескольких парламентских комитетов. В 1953 году Пеликан становится генеральным секретарем Международного Союза студентов, а с 1955 по 1963 гг. — председателем этого союза.

В 1961 году он получил партийное взыскание в связи с расследованием деятельности так называемой "югославской группы" — группы, которая интересовалась югославскими реформами. С 1963 года Пеликан был генеральным директором Чехословацкого телевидения, которое сыграло огромную роль в подготовке реформ. В 1964 году был снова избран депутатом Чехословацкого национального собрания.

Весной 1968 года Пеликан становится председателем Комитета парламента по иностранным делам. После оккупации Чехословакии на состоявшемся на пражском заводе XIV съезде КПЧ Пеликан был избран членом Центрального Комитета. Позже, под давлением Москвы, был освобожден от должности генерального директора чехословацкого телевидения и послан на работу в посольство Чехословакии в Риме. 1 октября 1969 года Пеликан публично заявил о своем решении не возвращаться в Чехословакию.

### Рудольф Баро —

родился в 1935 году. Закончил философский факультет Берлинского университета имени Гумбольдта (ГДР). В период коллективизации работал агитатором, позже редактором нескольких журналов. В 1967 году Р. Баро был назначен администратором завода по производству резины. Находясь на этой работе, Баро по вечерам и выходным дням писал книгу "Альтернатива. К критике реально существующего социализма". Он писал ее в течение пяти лет. Книга Баро вышла в Западной Германии в 1977 году. После выхода книги в свет Баро был арестован и обвинен в шпионаже. В июне 1978 года его приговорили к восьми годам тюремного заключения.

В октябре 1979 года Баро был амнистирован, и ему было дано разрешение на выезд в Западную Германию.

### **Петер Кенде —**

родился в Будапеште в 1927 году. С 1947 по 1955 годы был редактором органа Венгерской рабочей партии Сабад Неп, поддерживал политическую линию Имре Надя.

С сотрудниками он сформировал группу сторонников реформ, за что в 1955 году был уволен с работы. После подавления революции 1956 года П. Кенде оставил родину и переехал во Францию, где занимается научной деятельностью.

### **Адам Михник —**

польский историк (родился в 1946 году). В студенческие годы Михник был одним из руководителей оппозиции студентов Варшавского университета. В 1965 году его арестовывают, а несколько позже исключают из университета. Через несколько лет Михнику удается поступить заочником на исторический факультет Познаньского университета. Интересно, что темой своей дипломной работы он выбрал "Избранные проблемы истории польской политической мысли в эмиграции в период 1864-1870 гг."

Книга "Церковь, левые, диалог" — первая книга А. Михника.

### **Борис Шрагин —**

родился в 1926 году в СССР, в 1949 году окончил философский факультет Московского университета, с 1966 года — кандидат философских наук, работал научным сотрудником Института истории искусств, из которого в 1968 году был уволен за свое участие в правозащитном движении, эмигрировал в США в 1974 году. Автор книги "Противостояние духа", редактор и один из авторов сборника "Самосознание", а также издатель и автор антологии "Политическая, социальная и религиозная мысль в русском самиздате".

### **Зденек Млинарж —**

родился в Чехословакии в 1930 году. В 1945 году вступил в партию. В период с 1950 по 1955 гг. учился в Московском университете имени Ломоносова на юридическом факультете. После окончания университета короткое время работал в Генеральной прокуратуре в Праге, потом в Академии наук ЧССР.

с 1956 по 1968 гг. работал научным сотрудником Института государства и права АН ЧССР. В шестидесятые годы был секретарем юридической комиссии при ЦК КПЧ. В 1968 году Млинарж был избран вначале секретарем ЦК, а позже членом Политбюро.

После оккупации Млинарж отказывается от всех занимаемых им партийных должностей (ноябрь 1968 года) и переходит на работу в этно-мологическое отделение Национального музея в Праге. В 1970 г. был исключен из партии. Он был одним из первых, подписавших "Хартию-77".

В том же, 1977 году, Млинарж эмигрировал на Запад.



## CHALIDZE PUBLICATIONS

505 Eighth Avenue,  
New York, N.Y. 10018

### КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

*Никита Хрущев*, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

*Никита Хрущев*, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена -- 12.00

*Валерий Чалидзе*, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена -- 7.00

*Коран*. Перевод *Крачковского*, карманный формат, цена -- 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена -- 5.00

*Николай Евреинов*, История телесных наказаний в России, цена -- 15.00

*Николай Валентинов*, Встречи с Лениным, карманный формат, цена -- 12.00

*Валерий Чалидзе*, Иностранец в России, юридическая памятка, карманный формат, цена -- 6.00

Законодательство о религии в СССР, цена -- 9.00

*Петр Гарви*, **Профессиональные союзы в России после революции**, цена -- 7.50

**Хельсинкское движение**, цена -- 7.50

*Николай Новиков*, **Эрнст Неизвестный: искусство и реальность**, цена -- 10.00

*Серан Киркегор*, **Наслаждение и долг. Репринт**, 420 стр., цена -- 15.00

*З. Авалов*, **Присоединение Грузии к России**, репринт, 320 стр., цена -- 15.00

**СССР: внутренние противоречия**, редактор *В. Чалидзе*; цена выпуска -- 15.00

*Зимин*, **Социализм и неосталинизм**, цена -- 9.00

*Петр Кушников*, **Военный дневник 1917 года**, цена -- 10.00 (малотиражное издание)

**Цыганско-русский словарь**, репринт, цена -- 25.00 (малотиражное издание)



\$ 9.00

**В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ :**

*Дж. Браун.* Советский Союз и Восточная Европа.

*А. Михник.* Желаемое и возможное.

*П. Тигрид.* Политическая эмиграция в атомном веке.

*Ю. Бадзьо.* Открытое письмо Верховному Совету СССР и ЦК КПСС.

*А. Сейтмуратова.* Выступление в Мадриде.

И другие материалы.

Заказы направляйте по адресу:

Chalidze Publications  
505 Eighth Avenue,  
New York, N.Y. 10018

Цена выпуска — \$ 9.00